

КЛЮЧ ОТ МАСТЕРСКОЙ, ИЛИ ХАОС ПО ЛЮБВИ

Алиса Ветрова



Алиса Ветрова

**Ключ от мастерской,
или Хаос по любви**

«Автор»

2026

Ветрова А.

Ключ от мастерской, или Хаос по любви / А. Ветрова — «Автор»,
2026

Кира Нестерова умеет возвращать к жизни старинные вещи. Для нее трещина - не дефект, а место для золота. Но когда в ее мир врывается Глеб Волков - архитектор - минималист с ледяным взглядом и душой, спрятанной за броней прямых линий,- Кира понимает: этот проект сложнее любой реставрации. сможет ли Кира починить то, что сломалось не в вещах, а в людях? И готов ли Глеб отказаться от идеальных чертежей ради живой, несовершенной любви? Уютная, ироничная история о том, что самые крепкие союзы строятся не на бетоне, а на доверии. О том, что даже у самых "прямых" мужчин есть тайная комната детскими рисунками лягушек. И о том, что иногда, чтобы найти счастье, нужно просто повернуть правильный ключ. Для тех, кто верит: любовь - это не проект, а искусство реставрации.

© Ветрова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Ключ от мастерской, или Хаос по любви

Глава

Глава 1

Я проснулась с ощущением, что меня переехал коток. Причем не обычный дорожный коток, а какой-то особенно злобный, готический, с шипами и под аккомпанемент вагнеровского «Полета валькирий». Спина ныла так, будто я не спала, а всю ночь таскала рояли. Или, что было куда вероятнее, спала на том самом рояле. Открыв глаза, я обнаружила над собой лепной потолок с ангелочками. Ангелочки смотрели на меня с тем самым выражением лиц, какое бывает у очень вежливых людей, когда они видят, как ты в третий раз за ночь пытаешься открыть холодильник, а он, зараза, заклинивает. То есть с легким, едва заметным осуждением.

— Доброе утро, херувимчики, — пробормотала я, пытаюсь пошевелить шеей. Шея не пошевелилась. Зато пошевелилось что-то теплое, лысое и крайне недовольное у меня под боком.

— Мр-р-р-к, — сказала это нечто тоном оскорбленного аристократа, которому в тарелку положили не ту вилку. Я осторожно повернула голову и увидела Наполеона. Наполеон — это мой кот. Точнее, это я живу у Наполеона, а он изредка, по величайшей милости, разрешает мне делить с ним жилплощадь. Он был породы сфинкс, что само по себе уже являлось вызовом природе и здравому смыслу. Представьте себе существо, которое одновременно похоже на инопланетянина из старого фильма, на морщинистого старичка и на очень гордую, очень лысую сосиску. При этом Наполеон обладал осанкой испанского гранда и взглядом человека, который только что узнал, что его крепостные едят его же собственные грибы. Сейчас этот испанский гранд сидел на краю оттоманки, на которой я, судя по всему, и провела ночь, и смотрел на меня с нескрываемым презрением. Оттоманка — это, между прочим, была не просто кушетка, а антикварная оттоманка начала XIX века, которую я реставрировала уже третью неделю. Каркас из красного дерева, оригинальная резьба, потерянная где-то в эпоху наполеоновских войн обивка из лионского шелка (ну, почти лионского, почти оригинального, почти шелка — в реставрации, как и в жизни, всё «почти»).

— Что? — спросила я у кота, пытаюсь сесть. Спина протестующе хрустнула. — Ты же сам пришел. Ты же сам залез. Ты же сам...

— Мр-р-р-р-к, — перебил меня Наполеон с такой интонацией, будто хотел сказать: «Мадам, на вас золотая поталь. Вы вся в золотой потали. Вы похожи на дешевого ангела из провинциальной церкви». Я посмотрела на свои руки. Действительно, пальцы были покрыты тончайшим слоем золотой потали — этого капризного материала, который ложится на поверхность тоньше папиросной бумаги и пачкает всё, к чему прикасается, включая кожу, одежду, душу и, судя по всему, котов. Наполеон, видимо, ночью решил меня обнюхать и теперь имел вид существа, которое случайно упало в банку с блестками.

— Прости, — вздохнула я, протягивая к нему руку. — Я не специально. Я просто устала. Наполеон отстранился с достоинством раненого маршала.

— Ладно, — сказала я, поднимаясь с оттоманки и чувствуя, как хрустит каждый позвонок. — Поняла. Ты не прощаешь. Ты будешь дуться. Ты будешь дуться до тех пор, пока я не открою банку с паштетом «Для привередливых гурманов», который стоит как половина моей аренды. Иди сюда, лысый тиран. Но Наполеон уже прыгнул с оттоманки и направился к двери мастерской, виляя хвостом так, будто за ним гнались все его обиды за последние девять жизней.

Я осталась стоять посреди мастерской и огляделась.

Мастерская моя располагалась в старинном особняке где-то в центре Москвы, в переулке, который даже таксисты находили только с третьей попытки и всегда с выражением лица, будто они только что заблудились в собственном детективе. Здание было построено еще при царе Горохе, имело высоченные потолки с лепниной, камин, который не топился лет пятьдесят, и окна, из которых открывался вид на соседнюю стену такого же старого здания. Зато аренда была подъемной, а хозяйка здания, древняя, но очень бойкая старушка по имени Валентина Павловна, разрешала мне жить прямо в мастерской, что для меня, человека, у которого кровать в квартире давно превратилась в вешалку для одежды, было просто подарком судьбы.

Сама мастерская представляла собой, мягко говоря, хаос. Но это был не какой-нибудь обычный бытовой хаос, когда ты не можешь найти ключи или пульт от телевизора. Нет, это был профессиональный, творческий, возведенный в степень абсолюта хаос реставратора.

По полу были разбросаны куски бархата, шелка, гобелена, кожи. В углах стояли банки с морилкой разных оттенков — от «темного дуба» до «красного дерева» и какого-то загадочного «венге», который, как мне казалось, пах одновременно шоколадом и разочарованием. На столе громоздились инструменты: стамески, киянки, кисти всех возможных размеров, баночки с лаком, клеями, восками. Где-то в районе подоконника стоял радиатор, на котором сушились какие-то детали, а на самом подоконнике — три горшка с геранью, которую я упорно пыталась выходить, несмотря на то что герань, судя по ее виду, предпочитала бы жить где угодно, только не здесь. Воздух пах старым деревом, лаком, клеем, пылью и чем-то еще — тем самым неуловимым запахом времени, который бывает только в домах с историей. Мне этот запах нравился. Он успокаивал. Он говорил мне, что все в этом мире можно починить, если подойти с правильным инструментом и достаточным количеством терпения.

— Ну что, — сказала я вслух, потому что разговаривать с самой собой у меня было в привычках. — Проспали мы, значит. Опять.

Я подошла к маленькому умывальнику в углу, который Валентина Павловна называла «рукомойником» и который, на мой взгляд, был ровесником Пушкина. Из крана потекла ржавая вода, но это было даже мило — как дань уважения возрасту здания. Я умылась, насколько это было возможно, учитывая, что золотая поталь смывалась с кожи примерно так же охотно, как грехи в понедельник утром. То есть неохотно. Посмотрела в зеркало — вернее, в то, что от него осталось. Зеркало было старинное, в тяжелой бронзовой раме с ангелочками (теми же, что на потолке, видимо, это была какая-то семейная черта хозяев), и отражало оно меня с легкой дымкой, будто я смотрела на себя сквозь сто лет истории.

Из этой дымки на меня смотрела женщина лет тридцати шести. Волосы — когда-то русые, теперь с легким оттенком «пыльный мускат» от постоянного контакта с морилкой и поталью — торчали во все стороны. Под глазами были тени, которые никакой консилер не взял бы, даже если бы этот консилер стоил как моя мастерская за полгода. На носу — пятно от лака. На щеке — отпечаток чьей-то руки, которая, судя по всему, держала меня ночью, пока я спала на оттоманке. Нет, постойте, это просто я сама себя поцарапала, когда ворочалась.

— Великолепно, — сказала я своему отражению. — Просто королева. Королева пыльного подвала. Отражение согласно кивнуло и показало мне язык. Я оделась — то есть натянула на себя старые джинсы и футболку, которая когда-то была бежевой, а теперь имела цвет «грязный верблюд». Волосы собрала в хвост, который тут же начал распадаться, потому что резинка, как и все в моей жизни, была на последнем издыхании. На ноги — носки, потому что пол в мастерской был холодный даже летом, а сейчас, в конце июля, по утрам все равно пробирала дрожь.

Наполеон уже сидел на своем любимом месте — на старом кресле у камина, которое я когда-то отреставрировала специально для него. Кресло было обито темно-зеленым бархатом, и Наполеон на нем выглядел как маленький зеленый король на троне. Он вылизывал лапу с таким видом, будто никогда в жизни не снизошел до того, чтобы спать на мне.

— Ты знаешь, — сказала я, подходя к нему с банкой паштета (ну ладно, уступила я, открыла банку), — что ты совершенно неблагодарное существо. Я тебя кормлю. Я тебя грею. Я с тобой разговариваю, как с нормальным человеком. А ты... Наполеон поднял на меня глаза и медленно, очень медленно моргнул. Этот жест у сфинксов означал что-то вроде «я тебя слышу, женщина, но твои слова не стоят того, чтобы их слушать».

— Ладно, — вздохнула я, ставя перед ним миску. — Ешь. Ешь свой дорогой паштет. Растолстей хоть немного, а то тебя ветром сдует, и мне придется объяснять Валентине Павловне, почему у нее в мастерской бегают лысая крыса. Наполеон демонстративно отвернулся от миски, подошел к ней, понюхал, фыркнул и только потом, с видом человека, который делает мне одолжение, начал есть. Я уселась на оттоманку — ту самую, на которой спала, — и посмотрела на потолок. Ангелочки смотрели на меня. Я смотрела на ангелочков.

— Знаете что, — сказала я им. — Я сегодня не буду работать. Я сегодня буду лежать. Я буду лежать и думать о том, как я докатилась до жизни такой.

А докатилась я, надо сказать, интересно.

Когда-то, в глубокой юности, лет эдак в двадцать пять, я была совершенно нормальным человеком. У меня была нормальная работа в нормальном офисе, нормальная зарплата, нормальные коллеги и нормальный молодой человек по имени Денис, который, как мне тогда казалось, был самым замечательным человеком на свете. Денис работал в каком-то банке, носил костюмы, пил виски и говорил вещи вроде «надо смотреть на вещи реалистично» и «давай построим совместные планы на пять лет».

И вот однажды, совершенно случайно, я забрела в антикварную лавку. Просто так, потому что пошел дождь, и нужно было от него спрятаться. А в этой лавке стоял комод. Старинный, с потрескавшимся лаком, с одной сломанной ножкой, с ящиком, который не открывался. И я поняла, что хочу его починить. Не купить. Починить.

Денис, когда я рассказала ему об этом, посмотрел на меня так, будто я сказала, что хочу стать космонавтом или выйти замуж за принца. «Кира, — сказал он, — это нерационально. Ты не умеешь чинить мебель. Ты даже полку в ванной не можешь прибить».

И знаете что? Он был прав. Я действительно не умела. Но мне это было все равно. Я нашла мастера, который согласился взять меня ученицей. Это был старый, ворчливый реставратор по имени Аркадий Семеныч, который курил трубку, ругался матом и говорил, что современные женщины разучились терпеть. За два года я научилась больше, чем за предыдущие двадцать пять. Я научилась работать с деревом, с тканью, с лаком, с золотом. Я научилась чувствовать материал. Я научилась видеть, что за каждой трещиной, за каждым сколом стоит история. После такого практического обучения я получила высшее образование по специальности «Реставратор». А потом Денис ушел. Сказал, что я «слишком ушла в свою работу» и что он «не видит нашего общего будущего». Я плакала ровно три дня, а потом поняла, что мне, в общем-то, все равно. Потому что у меня был Аркадий Семеныч, был комод, который я наконец-то починила, и была мастерская, которую мне разрешила открыть Валентина Павловна.

Аркадий Семеныч, к сожалению, два года назад ушел в мир иной. Тихо, спокойно, во сне. Оставил мне все свои инструменты, все свои секреты и последнюю фразу: «Кирка, ты талантливее меня. Только не разбазарь это».

Я не разбазарила. Я работала. Я реставрировала комоды, секретеры, стулья, кресла, рамы для картин, даже одну разбитую скрипку, которая, как выяснилось, принадлежала когда-то какому-то известному музыканту. Клиенты ко мне приходили разные — кто-то по рекомендации, кто-то случайно, кто-то потому, что им нравилось, как я разговариваю с вещами. Потому что я действительно с ними разговариваю. Я знаю, что это звучит как начало психиатрического диагноза, но это работает.

— Ну все, — сказала я Наполеону, который уже доедал свой паштет и теперь делал вид, что меня не замечает. — Хватит лежать. У меня сегодня клиентка. Та самая, с проклятым комодом.

Наполеон, услышав слово «комод», наострил уши. Комоды он не любил. Точнее, он не любил, когда я приносила домой новые вещи, потому что это означало, что места на его законных владениях станет меньше.

— Не смотри так, — сказала я. — Комод не останется. Комод уедет обратно к своей хозяйке. А ты так и будешь здесь королем. Единственным и неповторимым.

Наполеон фыркнул, что, по-моему, означало: «Посмотрим».

Я встала, подошла к кофейнику — старому, советскому, который, как и все в этой мастерской, пережил не одну эпоху, — и поставила его на маленькую плитку. Пока кофе варился, я начала наводить порядок. То есть сдвигать вещи с одного места на другое, что, как известно, и есть главный принцип уборки в мастерской реставратора.

За окном начинался обычный московский день. Где-то гудели машины, кто-то разговаривал во дворе, на кухне у соседей играло радио. Все это создавало тот самый фон, который я любила больше, чем тишину. Потому что тишина — она давит. А такой фон — он как одеяло, укрывает.

Кофе сварился. Я налила его в большую кружку с надписью «Лучший реставратор на свете» (подарок Валентины Павловны на прошлый день рождения) и села за свой рабочий стол.

— Ну что, — сказала я сама себе. — Начинаем.

И в этот момент раздался звонок в дверь.

Точнее, не звонок, а звон. У меня вместо дверного звонка был старинный колокольчик, который висел на двери и звенел так, будто в мастерскую ворвалась стая серебряных птиц.

Я посмотрела на часы. Девять утра. Клиентка с комодом должна была прийти в одиннадцать. Кто это мог быть так рано?

— Наполеон, — сказала я. — Ты ждешь кого-то?

Наполеон, который уже переместился на подоконник и грелся на солнце, даже ухом не повел. Он делал вид, что его это не касается.

Я пошла открывать дверь, еще не зная, что этот звонок перевернет мою жизнь. Что через минуту в мою мастерскую войдет человек, который изменит все. Что мой уютный, пыльный, хаотичный мирок вот-вот треснет, как тот самый фарфор, который я так любила чинить.

Но это будет чуть позже.

А пока я просто открыла дверь и увидела...

За дверью стоял курьер. Молодой человек в мятой куртке, с планшетом в руках и взглядом, который говорил: «Мадам, я уже опоздал на три заказа, давайте быстрее».

— Кира Александровна Нестерова? — спросил он, тыча в планшет пальцем, на котором было ровно столько же грязи, сколько на моих.

— Она самая, — кивнула я. — Если вы принесли мне то, что я заказала, я вас расцелую. Если не то — я вас прокляну. И то, и другое будет искренне.

Курьер хмыкнул, протянул мне коробку и сунул планшет под нос.

— Подпишите. И учтите, проклятия у вас, видимо, работают. У нас сегодня весь день машина ломается.

Я подписала, поблагодарила, закрыла дверь и села на пол прямо в коридорчике, чтобы открыть коробку. Внутри, завернутые в три слоя пупырчатой плёнки, лежали латунные накладки — те самые, которые я две недели искала по всем московским блошиным рынкам и в итоге нашла у какого-то сумасшедшего коллекционера в Коломне. Накладки были идеальные: с легкой патиной, с вензелями, с той самой благородной стариной, которую невозможно подделать.

— Наполеон, — позвала я, не вставая с пола. — Иди сюда. Смотри, что я нашла.

Наполеон, разумеется, не пришел. Он был выше суеты. Но я все равно показала ему коробку через порог мастерской.

— Видишь? — сказала я накладкам. — Вы красивые. Вы достойные. Вы не то что некоторые.

Накладкам было, в общем, все равно. Но мне стало легче. Когда находишь то, что искал, — это маленькое чудо. Как найти нужную пуговицу в коробке, где их триста, или услышать свою песню в случайном плейлисте.

Я отнесла коробку на рабочий стол, аккуратно отложила накладки в сторону — они ждут своего часа — и решила, что до прихода клиентки у меня есть еще час. Час, который я могла посвятить тому, что действительно любила.

На верстаке, в самом дальнем углу мастерской, ждала она. Треснувшая чашка из северского фарфора. Тонкая, как яичная скорлупа, с нежным голубым фоном и росписью, которая, если присмотреться, изображала не просто цветочки, а целую историю — пастушку, которая пасет овец, а овцы, в свою очередь, смотрят не на траву, а на какого-то наглого зайца, который, судя по всему, только что украл у них краюху хлеба.

Чашка была не просто треснутой. Она была разбитой на четыре части, и одна из этих частей — доннышко — была утеряна. Клиент, пожилой коллекционер, привез ее мне месяц назад со словами: «Девушка, если вы это почините, я заплачу любые деньги. Это чашка моей бабушки. Она из нее пила чай, когда ей сообщили, что война закончилась».

Я, конечно, сказала, что попробую. Но на самом деле я не просто попробую. Я это сделаю. Потому что такие вещи нельзя не починить.

Я надела лупу, взяла тончайшую кисточку и начала работать.

Реставрация фарфора — это не работа. Это медитация. Это разговор с тем, кто держал эту чашку в руках сто, двести, триста лет назад. Ты чувствуешь, как глина помнит руки мастера, как глазурь помнит огонь печи, как трещина помнит тот момент, когда чашка упала на пол — может, от старости, может, от дрогнувшей руки служанки, может, от того, что ее кто-то швырнул в порыве гнева или страсти. Я смешивала клей с фарфоровой пылью — специальной, которую мне привозил один знакомый из Петербурга. Получалась субстанция, которая после высыхания становилась почти неотличимой от самого фарфора. Я наносила ее тончайшим слоем, заполняя трещину, и чувствовала, как чашка под моими пальцами буквально срастается. Как будто она сама хочет быть целой.

— Ну вот, — шептала я, работая. — Потерпи, милая. Еще чуть-чуть. Сейчас мы тебя склеим, потом покроем глазурью, потом в печь — и будешь как новенькая. Ну, почти как новенькая. Шрам останется. Но шрамы — это же интересно. Шрамы — это история.

Я думала о шрамах и невольно думала о людях.

Люди, в отличие от фарфора, срастаются гораздо хуже. У людей нет такого клея, который бы заполнил трещины и сделал их снова целыми. У людей есть только время. И даже оно не всегда помогает.

Я вспомнила Дениса. Не потому, что мне было больно — боль прошла давно, года два назад. А потому, что я вдруг подумала: а ведь мы с ним и были как две треснувшие чашки. Мы пытались склеить себя друг о друга, но у нас не было того самого клея. Мы были слишком разными. Он хотел прямой линии — карьера, квартира, дети, дача, пенсия. А я всегда была кривой. Я всегда любила эти вот трещины, сколы, истории, которые прячутся в старых вещах.

И знаете, что самое интересное? Я на него за это даже не обижалась. Потому что он был прав. Я действительно была кривая. И он имел полное право хотеть прямую линию.

Просто наши линии не совпали. И все.

Я вздохнула, отложила кисточку и посмотрела на чашку. Трещина почти исчезла. Осталось только покрыть ее глазурью и обжечь в маленькой печи, которую Аркадий Семеныч, упокой, Господи его душу, когда-то собственноручно сложил в углу мастерской.

— Видишь, — сказала я чашке. — Все можно починить. Главное — знать, как.

И в этот момент колокольчик на двери зазвенел снова. На этот раз — по-другому. Не как курьерский звонок, а как-то... театрально. Будто в мастерскую вошла не женщина, а целое событие. Я сняла лупу, вытерла руки тряпкой и пошла в прихожую.

И не ошиблась. На пороге стояла женщина. Лет шестидесяти, но выглядела она на сорок пять, потому что, видимо, очень хорошо умела делать вид, что ей сорок пять. На ней было платье в пол — не просто длинное, а именно в пол, с оборками, с рюшами, с какими-то странными вставками из кружева. На шее — нитка жемчуга, который, судя по блеску, был либо очень дорогим, либо очень хорошей подделкой. В руках — огромная сумка, из которой торчал хвост какого-то животного — то ли лисы, то ли енота.

— Вы Кира? — спросила она голосом, который идеально подходил к ее платью. То есть голосом театральной актрисы, которая играет королеву Лир в провинциальном театре.

— Я, — кивнула я. — А вы, видимо, Валентина Игоревна?

— В самом деле! — воскликнула она, хотя я ее видела первый раз в жизни. — Вы, должно быть, экстрасенс! Я вам по телефону ничего не говорила про свое имя, а вы...

— Вы звонили мне три раза, — мягко напомнила я. — И каждый раз представлялись. Первый раз — Валентиной, второй — Игоревной, третий — Валентиной Игоревной. Так что я, в общем, в курсе.

Она посмотрела на меня с восхищением.

— Какая память! — сказала она. — Какая память! Вы просто сокровище. Я вам сейчас все расскажу. Вы не представляете, что у меня за проблема. Это не просто проблема. Это кошмар. Это проклятие.

— Проклятие? — уточнила я, уже начиная догадываться, с кем имею дело.

— Именно! — кивнула она, протискиваясь в мастерскую вместе со своей сумкой, хвостом и всей своей театральной аурой. — У меня проклятый комод. И она достала из сумки... телефон. И показала мне фотографию.

На фотографии был комод. Старинный, темного дерева, с тремя ящиками, с бронзовыми ручками в виде львиных морд. Красивый комод. Очень красивый. И абсолютно, совершенно, неисправимо проклятый — если верить Валентине Игоревне.

— Он достался мне от тети Зины, — начала она, усаживаясь на стул, который я ей пододвинула (и который она предварительно протерла платочком, будто боялась подцепить какую-то старинную болезнь). — Тетя Зина была женщиной... сложной. Очень сложной. Она три раза выходила замуж, два раза разводилась, один раз была вдовой, и все ее мужчины, кроме последнего, скончались при загадочных обстоятельствах.

— При каких? — не удержалась я.

— Ну, один упал с лестницы, второй отравился грибами, третий... ну, третий просто ушел. Но это не считается. Так вот, тетя Зина была уверена, что во всем виноват комод. Что комод приносит несчастье всем, кто его касается. И когда она умерла — тихо, спокойно, в своем сне, как ваш учитель, между прочим, — комод остался мне. И с тех пор...

Она сделала паузу для эффекта.

— С тех пор у меня три раза прорывало трубу. Два раза я теряла ключи. Один раз я поскользнулась на ровном месте и сломала руку. А мой кот — у меня был перс, Бублик, царство ему небесное — Бублик просто сбежал. Сбежал из квартиры, которая закрыта изнутри! Вы понимаете?

— Эм... — начала я.

— Я понимаю, что это звучит как бред, — перебила меня Валентина Игоревна. — Но я вам скажу одно: этот комод — проклятый. И я хочу, чтобы вы его починили. Потому что, может быть, если его починить, проклятие спадет.

Я посмотрела на фотографию еще раз. Комод действительно был в плачевном состоянии. Одна ножка сломана, два ящика не закрывались, на крышке — глубокая царапина, которая, судя по всему, была оставлена чем-то очень острым и очень злым. Но главное — я увидела то, чего не увидела Валентина Игоревна.

— А можно посмотреть живую? — спросила я.

— Конечно! — воскликнула она. — Он в моей машине. Я его привезла. Я думала, вы откажетесь, поэтому сразу привезла.

— Привезли? — переспросила я. — Комод? В машине?

— В «Мерседесе», — гордо кивнула она. — У меня большой «Мерседес». Комод влез.

Я не стала спрашивать, как она его поместила. Я просто пошла за ней во двор. Комод действительно был в «Мерседесе». И действительно, «Мерседес» был большой. Мы с Валентиной Игоревной, при помощи какого-то прохожего, которого она остановила с царственным видом («Молодой человек, вы мне поможете, и я вам заплачу»), вытащили комод и внесли его в мастерскую.

Я поставила комод посреди мастерской, отошла на шаг и начала его разглядывать. Наполеон, который до этого мирно спал на своем кресле, проснулся, посмотрел на комод, фыркнул и демонстративно отвернулся. Коты, я вам скажу, чувствуют такие вещи.

— Ну что? — спросила Валентина Игоревна, стоя за моей спиной и нервно теребя жемчуг.

— Ну, — сказала я, проводя рукой по крышке комода. — Проклятие — это, конечно, сильно сказано. Но вот это...

Я нажала на бронзовую львиную морду на ручке ящика. Раздался тихий щелчок, и в крышке комода открылся маленький, незаметный раньше секретный отсек. Валентина Игоревна ахнула.

— Что это? — прошептала она.

— Это, — сказала я, заглядывая внутрь, — тайник. И, судя по всему, не пустой.

Я достала оттуда сложенное вчетверо пожелтевшее письмо и маленькую золотую медальон-подвеску.

— Ой, — сказала Валентина Игоревна. — Ой-ой-ой.

— Давайте откроем, — предложила я.

Мы открыли письмо. Оно было написано красивым, старомодным почерком, и адресовано было некой «Зинаиде».

— Это тетя Зина! — воскликнула Валентина Игоревна. — Это ее имя!

Я начала читать вслух:

«Милая Зина. Если ты читаешь это, значит, меня нет в живых. Я хочу, чтобы ты знала: я любил тебя. Всю жизнь. Даже когда ты выходила за других. Даже когда ты меня прогнала. Я спрятал это в твоём комод, потому что знал, что ты его никогда не выбросишь. Прости меня. Твой А.»

Валентина Игоревна молчала. Потом она вынула из сумки платок — настоящий, кружевной, старинный — и вытерла глаза.

— Это, наверное, ее первая любовь, — сказала она тихо. — Та, которую она прогнала. Я всегда знала, что у нее кто-то был. Но она никогда не говорила.

— Хотите, я вскрыю медальон? — спросила я.

Она кивнула. Я аккуратно открыла медальон. Внутри была маленькая, выцветшая фотография молодого человека с грустными глазами и надпись: «А. и З. Навсегда». Валентина Игоревна посмотрела на фотографию, потом на меня, потом снова на фотографию.

— Знаете что, — сказала она. — Я забираю комод. И я забираю письмо. И медальон. И я больше не верю в проклятия. Я верю в любовь.

— Это хорошее решение, — улыбнулась я.

— А вы... вы почините комод? — спросила она.

— Починю, — кивнула я. — Ножку склею, ящики подгоню, царапину заделаю. И он будет как новый. Ну, почти как новый. Шрам останется. Но шрамы — это же интересно. Шрамы — это история.

Она посмотрела на меня с такой благодарностью, что мне стало немного неловко.

— Вы удивительная, — сказала она. — Вы знаете, как разговаривать с вещами.

Я улыбнулась.

— Вещи — они хорошие, — сказала я. — Они не врут. Они не уходят. Они просто ждут, когда их починят.

Она уехала, оставив мне предоплату и поцеловав меня в обе щеки. Я осталась стоять посреди мастерской, держа в руках письмо и медальон, которые теперь нужно было вложить обратно в тайник, когда комод будет починен. И вдруг я почувствовала, что у меня на глазах слезы.

Не от грусти. А от того, что я снова убедилась: вещи — они правда хорошие. Они переживают людей. Они хранят их истории. И если ты умеешь их слушать, ты можешь узнать такое, о чем не расскажет ни один человек. Наполеон подошел ко мне, терся о ногу и тихо замурлыкал.

— Все хорошо, — сказала я ему, приседая на корточки и глядя его теплую, бархатную спинку. — Все хорошо. Мы починим комод. Мы вернем письмо. И все будет хорошо.

Наполеон мурлыкал в ответ. И я ему верила. Но, как выяснится совсем скоро, я была слишком оптимистична.

Потому что в мою жизнь уже спешил человек, который собирался все изменить. И этот человек, судя по всему, не верил ни в любовь, ни в истории, ни в шрамы.

Он верил только в прямые линии.

Я стояла посреди мастерской, держа в руках старинный медальон, и чувствовала себя немного растроганной, немного умиротворенной и абсолютно, совершенно счастливой. Наполеон мурлыкал у моих ног, где-то в углу тихо потрескивал камин (ну, не камин, конечно, а старый радиатор, который издавал звуки, подозрительно похожие на потрескивание камина, если закрыть глаза и очень сильно захотеть), а в воздухе все еще витал тот самый запах — запах старой бумаги, любви и чего-то вечного.

Я аккуратно вложила письмо и медальон обратно в тайник комода, закрыла его и погладила крышку.

— Потерпи, милый, — сказала я комоду. — Скоро я тебя починю, и ты вернешься домой. А пока полежишь у меня.

Наполеон фыркнул, что, по-моему, означало: «Ты разговариваешь с мебелью. Это нормально? Это вообще нормально?»

— Нормально, — ответила я ему. — Абсолютно нормально. Это называется профессиональная деформация. Или, может быть, профессиональная любовь. Не знаю.

Я пошла к умывальнику, чтобы смыть с рук клей и фарфоровую пыль, и в этот момент раздался стук в дверь. Не звон колокольчика — нет, это был именно стук. Короткий, четкий, уверенный. Стук человека, который знает, что имеет право войти, и не собирается спрашивать разрешения. Я посмотрела на часы. Одиннадцать сорок. Клиентка с комодом уже уехала. Курьер с накладками тоже. Кто это мог быть?

— Наполеон, — сказала я. — Ты ждешь кого-то?

Наполеон, который уже переместился на подоконник и грелся на солнце, поднял голову, посмотрел на дверь и... нахмурился. У сфинксов, я вам скажу, очень выразительная мимика. Этот нахмуренный взгляд означал что-то вроде: «Там кто-то неприятный. Я чувствую это своими царственными усами».

— Ладно, — вздохнула я, вытирая руки полотенцем. — Сейчас посмотрим, кто там.

Я пошла к двери, открыла ее и увидела... Человека. Нет, не просто человека. А человека, который выглядел так, будто его только что собрали по чертежу. Высокий, худой, в идеально выглаженном темно-синем костюме, который сидел на нем так, будто был нарисован вместе с ним. Волосы — темные, коротко стриженные, уложенные так, что ни один волосок не смел отклониться от генеральной линии. Лицо — красивое, но какое-то... стерильное. Как будто он каждое утро просыпается и думает: «Так, сегодня я буду выглядеть на семь с половиной баллов из десяти. Не больше, не меньше».

В руках у него был планшет. Не обычный планшет, а какой-то ультратонкий, футуристический, который, видимо, стоил как моя мастерская за год.

— Кира Александровна Нестерова? — спросил он голосом, который идеально подходил к его внешности. То есть голосом человека, который никогда не повышает тон, никогда не улыбается слишком широко и всегда говорит так, будто зачитывает техническую документацию.

— Она самая, — кивнула я, чувствуя, как что-то внутри меня напрягается. Не знаю, почему, но этот человек сразу вызвал у меня ощущение, будто в мою пыльную, уютную мастерскую ворвался кусок стекла. Острый, холодный и совершенно неуместный.

— Меня зовут Глеб Николаевич Волков, — представился он, протягивая руку. — Я представляю компанию «Новый Горизонт». Мы недавно приобрели это здание.

— Приобрели? — переспросила я, не пожимая его руку (не потому, что я такая невоспитанная, а потому что мои руки все еще были в фарфоровой пыли, и мне не хотелось пачкать его идеальный костюм). — То есть... как это приобрели?

— Очень просто, — сказал он, доставая из планшета какой-то документ. — Здание было выставлено на торги. Мы его купили. Планируем провести капитальную реконструкцию и превратить его в современный коворкинг-центр для IT-компаний.

Я смотрела на него и чувствовала, как земля начинает уходить из-под ног.

— Коворкинг? — переспросила я. — То есть... вы хотите сказать, что...

— Я хочу сказать, — продолжил он тем же ровным тоном, — что через месяц это здание будет освобождено. Все арендаторы должны съехать до первого сентября. Вы получили уведомление по почте?

— Уведомление? — Я посмотрела на него так, будто он только что сказал, что Земля плоская. — Какое уведомление?

Он нахмурился — то есть его брови сдвинулись на миллиметр, что, видимо, было максимальным проявлением эмоций, на которое он был способен.

— Уведомление было отправлено всем арендаторам две недели назад. Заказным письмом с уведомлением о вручении. Вы не получили?

— Нет, — сказала я, чувствуя, как у меня начинает дергаться глаз. — Я не получила никакого уведомления. Потому что я не получаю почту. Я вообще редко открываю почтовый ящик. Там обычно лежит реклама и счета за электричество, которые я оплачиваю онлайн.

Он посмотрел на меня с легким раздражением — то есть его губы сжались еще на миллиметр.

— Это ваша проблема, — сказал он. — Уведомление было отправлено. Вы должны были его получить.

— Подождите, — сказала я, пытаюсь сообразить. — То есть вы хотите сказать, что я должна съехать? Через месяц? Из моей мастерской?

— Из помещения, которое вы арендуете, — уточнил он. — Да.

— Но... — Я обвела рукой мастерскую. — Но это же... Это же моя мастерская. Я здесь работаю уже пять лет. У меня здесь клиенты. У меня здесь...

Я посмотрела на Наполеона, который сидел на подоконнике и смотрел на Глеба с таким видом, будто тот только что предложил ему переехать в коробку из-под обуви.

— У меня здесь кот, — закончила я.

Глеб посмотрел на кота, потом на меня, потом снова на кота.

— Я понимаю, — сказал он. — Но это не меняет ситуации. Здание продано. Реконструкция начнется первого сентября. Вы должны освободить помещение.

— А куда я дену свою мастерскую? — спросила я, чувствуя, как у меня начинает подниматься паника. — Куда я дену все свои вещи? У меня здесь тонны антиквариата. У меня здесь станки. У меня здесь...

— Это не моя проблема, — сказал он. — Вы должны были позаботиться об этом заранее.

Я посмотрела на него. На его идеальный костюм. На его идеально уложенные волосы. На его идеальный планшет. И поняла, что он действительно не понимает. Он не понимает, что для меня это не просто «помещение». Это моя жизнь. Это мой дом. Это место, где я нашла себя после того, как потеряла все.

— Послушайте, — сказала я, стараясь говорить спокойно. — Может быть, мы можем как-то... Я не знаю... Может быть, я могу остаться? Я буду платить больше. Я...

— Нет, — перебил он. — Реконструкция начнется первого сентября. Все арендаторы должны съехать. Это окончательное решение.

— Но...

— Мадам Нестерова, — сказал он — я понимаю, что это неприятно. Но это бизнес. Здание было куплено для конкретного проекта. Мы не можем изменить планы из-за одного арендатора.

— Одного арендатора? — переспросила я, чувствуя, как у меня начинает дрожать голос. — Вы знаете, сколько я здесь работаю? Вы знаете, что это не просто «помещение»? Это...

— Я знаю, что вы арендуете помещение на втором этаже, — перебил он. — И что срок аренды истекает через месяц. Это все, что мне нужно знать.

Я посмотрела на него. На его холодные, серые глаза. На его идеально выглаженный костюм. На его планшет, в котором, видимо, были все ответы на все вопросы. И поняла, что он не понимает. Он не понимает, что вещи — они не просто вещи. Что мастерская — это не просто помещение. Что для меня это все — как для него его чертежи и планы.

— Хорошо, — сказала я, чувствуя, как внутри меня что-то ломается. — Хорошо. Я съеду. Я найду другое место. Я...

— Отлично, — кивнул он, протягивая мне документ. — Подпишите, пожалуйста. Это подтверждение того, что вы получили уведомление о выселении. Я посмотрела на документ. Это был стандартный бланк, напечатанный на какой-то супер-современной бумаге. Я взяла ручку, которую он мне протянул (тоже какую-то футуристическую, с логотипом его компании), и подписала.

— Спасибо, — сказал он, забирая документ. — Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с нашим юридическим отделом. Вот их контакты.

Он протянул мне визитку. Я взяла ее, посмотрела на нее. На визитке было написано: «Глеб Николаевич Волков. Главный архитектор проекта «Новый Горизонт». И дальше — телефон, email, адрес сайта. Все на английском. Все идеально.

— Спасибо, — сказала я, чувствуя, как у меня немеют пальцы.

— Всего доброго, — кивнул он, разворачиваясь к двери.

И в этот момент Наполеон, который до этого молча сидел на подоконнике и смотрел на Глеба с нескрываемым презрением, вдруг издал звук.

Это было не мяуканье. Это было что-то среднее между шипением и плеванием. Это был звук, который означал: «Ты. Ты, человек в костюме. Ты только что разрушил мой мир. И я тебя за это ненавижу».

Глеб обернулся, посмотрел на кота, потом на меня.

— Ваш кот... — начал он.

— Наполеон, — сказала я. — Его зовут Наполеон. И он не любит, когда кто-то нарушает его границы.

Глеб посмотрел на Наполеона, потом снова на меня.

— Понятно, — сказал он. — Всего доброго, Мадам Нестерова.

И он вышел, закрыв за собой дверь так аккуратно, что колокольчик даже не звякнул. Я осталась стоять посреди мастерской, держа в руках визитку, и чувствовала, как у меня подкашиваются ноги.

— Наполеон, — сказала я, опускаясь на оттоманку. — Мы в дерьме.

Наполеон подошел ко мне, терся о ногу и тихо мурлыкал. Но в этом мурлыканье, я вам скажу, не было ничего утешительного. В нем было что-то вроде: «Я же тебе говорил. Я же чувствовал. Этот человек — катастрофа». Я посмотрела на визитку. «Глеб Николаевич Волков. Главный архитектор проекта».

— Глеб, — сказала я вслух. — Глеб Волков. Звучит как имя человека, который никогда не улыбается и не ест ничего, кроме салата из рукколы.

Я посмотрела вокруг. На свою мастерскую. На банки с морилкой. На инструменты. На комод с тайником. На чашку из северского фарфора, которую я только что почти починила. На Наполеона, который сидел рядом и смотрел на меня с нескрываемой тревогой.

И поняла, что через месяц всего этого может не быть. Через месяц я могу остаться без дома. Без работы. Без всего.

— Ну нет, — сказала я вслух, чувствуя, как внутри меня что-то поднимается. Не паника. Не страх. А что-то другое. Что-то, что я чувствовала, когда впервые взяла в руки стамеску и поняла, что могу чинить вещи. — Ну нет, товарищ Волков. Мы так просто не сдаемся.

Наполеон посмотрел на меня и тихо мяукнул.

— Да, — сказала я ему. — Я знаю. Это будет сложно. Но мы справимся. Мы всегда справляемся.

Я встала, подошла к окну и посмотрела на улицу. Глеба уже не было видно. Он ушел, оставив меня с визиткой и ощущением, что моя жизнь только что треснула, как та чашка из северского фарфора.

Но чашку я могла починить. А как починить жизнь? Я не знала.

Но я знала одно: я не сдамся. Я буду бороться. Я найду способ остаться. Я найду способ спасти свою мастерскую. Я найду способ...

И в этот момент я поняла, что даже не знаю, с чего начать. Но я начну.

Обязательно начну. Потому что я — Кира Нестерова. Реставратор. Я чиню вещи. И это я почию.

Даже если это будет самая сложная реставрация в моей жизни.

Через полчаса после ухода Глеба я сидела за своим рабочим столом — старым дубовым столом с чернильными пятнами, которые, как утверждал Аркадий Семеныч, были оставлены еще при царе Александре Втором, — и смотрела в экран ноутбука. Ноутбук был старый, тормозной, с треснувшим корпусом, который я, разумеется, заклеила золотой поталью, потому что даже в цифровой технике я предпочитаю реставрацию замене. На экране был открыт сайт

объявлений о недвижимости, и я чувствовала себя человеком, который только что прыгнул в бассейн, а бассейн оказался без воды.

— Так, — сказала я вслух. — Ищем. Ищем помещение. Ищем новый дом. Ищем...

Наполеон сидел рядом, на краю стола, и смотрел на экран с таким выражением лица, будто понимал каждое слово и заранее знал, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Первое объявление гласило: «Уютное помещение свободного назначения, 25 кв. м, м. Бирюлево Западное, первый этаж, отдельный вход. Идеально для мастерской!»

Я кликнула на фотографии.

«Идеально для мастерской» оказалось бывшей кладовой при овощном магазине. На стенах — подтеки. На полу — линолеум, который, видимо, помнил еще советскую власть. Потолок — низкий, такой, что я, при своих ста шестидесяти пяти сантиметрах, рисковала бы удариться о люстру головой. Люстра, к слову, была одна, и она была пластиковая.

— Наполеон, — сказала я, поворачивая к нему экран. — Ну как? Уютно?

Наполеон подошел, посмотрел на экран, медленно моргнул и отвернулся. Этот жест, как я уже говорила, у сфинксов означал: «Женщина, ты серьезно? Ты серьезно предлагаешь мне жить здесь? Я лучше умру. Прямо сейчас. На этом столе».

— Согласна, — вздохнула я и закрыла вкладку.

Второе объявление: «Светлое помещение, 40 кв. м, м. Медведково, второй этаж, большие окна, высокие потолки. Отлично для творческих людей!»

Я кликнула. Фотографии были подозрительно яркие, как будто их обрабатывали в фотошопе до потери совести. Но я, как реставратор, знала, что за слоем лака иногда скрывается трещина. Я нашла объявление на другом сайте — с реальными фотографиями.

Реальность оказалась следующей: «большие окна» выходили на стену соседнего дома. «Высокие потолки» были высокими только потому, что часть потолка обрушилась, обнажив бетонные плиты и арматуру. «Светлое» — потому что лампы дневного света мигали с частотой, достаточной для того, чтобы вызвать эпилептический припадок у любого, кто проведет в помещении больше пяти минут.

— Наполеон, — снова позвала я.

Кот даже не повернул голову. Он уже знал ответ.

Третье объявление было самым многообещающим: «Лофт! 80 кв. м, м. Курская, кирпичные стены, панорамные окна, дизайнерский ремонт. Сдается впервые!»

Я открыла. И замерла.

Это было прекрасно. Кирпичные стены, высокие потолки, огромные окна с видом на Москву-реку, деревянный пол, даже камин! Настоящий, действующий камин!

— Наполеон! — воскликнула я. — Смотри! Смотри, это же...

Наполеон, почувствовав мой восторг, соизволил подойти и посмотреть. Посмотрел. Моргнул. Фыркнул.

— Что? — спросила я. — Что не так? Это же идеально!

Я пролистала объявление вниз. И увидела цену.

Двести восемьдесят тысяч рублей в месяц.

Двести. Восемьдесят. Тысяч.

Я посмотрела на свой банковский счет, который был открыт в соседней вкладке. На нем было сорок семь тысяч триста двенадцать рубля и шесть копеек. Сорок семь тысяч.

— Ладно, — сказала я, закрывая вкладку. — Лофт отменяется. Лофт — это мечта. А нам нужна реальность.

Наполеон сел на край стола и начал мыть лапу с видом человека, который только что потерял веру в человечество.

Четвертое объявление: «Помещение в подвале, 15 кв. м, м. Выхино. Дёшево! Срочно!»

Фотографий не было. В описании — три слова: «Сухой. Теплый. Недорого».

— «Сухой», — прочитала я вслух. — Если бы он был сухой, они бы написали «очень сухой». Если бы он был теплый, они бы написали «отапливаемый». А «недорого» — это вообще самое страшное слово в недвижимости. Потому что «недорого» всегда значит «почему-то».

Наполеон, не глядя на экран, издал звук, который можно было перевести как: «Следующий».

Пятое объявление: «Цокольный этаж, 60 кв. м, м. Тушино. Бывшее ателье. Есть вода, электричество, канализация. Ремонт не требуется».

— «Ремонт не требуется», — повторила я. — Значит, требуется. Обязательно требуется.

Я открыла фотографии. Бывшее ателье выглядело как место, где снимали хоррор в девяностые. Стены были обиты дерматином цвета «болотная тоска». На полу — ковровое покрытие, которое когда-то было красным, а теперь имело оттенок, который я бы назвала «засохшая кровь с примесью безнадёжности». В углу стоял манекен — без головы, без рук, просто торс в пожелтевшем кружеве. Манекен смотрел на меня пустыми глазницами и, казалось, говорил: «Добро пожаловать. Ты останешься здесь навсегда».

— Наполеон, — прошептала я.

Наполеон посмотрел на экран, посмотрел на манекен, посмотрел на меня и медленно, очень медленно сполз со стола на пол, как будто его ноги подкосились от ужаса.

— Поняла, — сказала я. — Безголовый манекен — это красный флаг. Даже для нас.

Я закрыла ноутбук и откинулась на спинку стула. Стул скрипнул. Стул, как и все в этой мастерской, был старым и уставшим. Но он был моим. И я вдруг остро, до слез, почувствовала, как я не хочу отсюда уходить.

Не потому что мне некуда идти. Ну, то есть, мне действительно некуда идти, но это не главное. Главное — это место. Это запах. Эти ангелочки на потолке. Этот старый радиатор, который потрескивает как камин. Этот колокольчик на двери, который звенит как стая серебряных птиц. Этот Наполеон, который сидит на моем столе и смотрит на меня с выражением «ну давай, женщина, придумай что-нибудь».

Я взяла визитку Глеба.

«Глеб Николаевич Волков. Главный архитектор проекта «Новый Горизонт». Я посмотрела на визитку. Потом на мастерскую. Потом на Наполеона. Потом снова на визитку.

— Знаешь что, — сказала я коту. — Я не буду искать другое помещение.

Наполеон поднял голову. В его глазах появилось что-то вроде интереса.

— Да, — сказала я, вставая со стула. — Я не буду. Потому что ни одно другое помещение не будет таким, как это. Потому что я не хочу уходить. Я хочу остаться.

Наполеон посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. Потом кивнул. Ну, то есть сделал движение головой, которое можно было интерпретировать как кивок. У сфинксов, я вам скажу, кивки — это редкость. Это как получить «лайк» от кота. Это значит, что ты сказала что-то действительно стоящее.

— Я пойду к нему, — сказала я. — Я пойду в этот его «Новый Горизонт». Я поговорю с ним лично. Я объясню ему, что...

Я замолчала. Потому что вдруг поняла: я не знаю, что я ему объясню. Что я реставратор? Что мне нравится запах старого дерева? Что мой кот считает это помещение единственно достойным? Что у меня на счете сорок семь тысяч и безголовый манекен в Тушино меня не привлекает?

— Я что-нибудь придумаю, — сказала я. — Я всегда что-нибудь придумываю.

Наполеон фыркнул, но в этот раз в его фыркание было что-то вроде одобрения. Типа: «Ну давай. Попробуй. Хуже не будет. Хотя, может, и будет. Но хотя бы попробуй».

Я взяла визитку, положила ее в карман джинсов, подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Из зеркала на меня смотрела женщина с пятном от лака на носу, с волосами цвета «пыльный мускат», с глазами, в которых было что-то между отчаянием и упрямством.

— Ты справишься, — сказала я своему отражению.

Отражение не ответило. Но ангелочки на потолке, мне показалось, одобрительно кивнули.

Я подошла к Наполеону, взяла его на руки — он, разумеется, сделал вид, что это было его решение, а не мое, — и прижала к себе. Он был теплый, бархатный, и его сердце билось так быстро, как будто он тоже переживал.

— Мы справимся, — сказала я ему. — Мы не уйдем. Мы останемся. Мы починим эту ситуацию, как чиним все остальное. По кусочку. По трещинке. По сколу.

Наполеон замурлыкал. И это было лучшее мурлыканье за весь день.

Я поставила его на кресло, взяла со стола лупу — не потому что она мне нужна была прямо сейчас, а потому что мне нужен был какой-то ритуал, какой-то жест, который бы сказал: «Я остаюсь. Я работаю. Я не сдаюсь», — и подошла к чашке из севрского фарфора.

— Ну что, — сказала я чашке. — Продолжаем?

Чашка не ответила. Но она и не треснула дальше. И это, в общем, уже было обещанием.

Я села за верстак, надела лупу, взяла кисточку и продолжила работать. Потому что работа — это единственное, что я умею делать хорошо. Единственное, что я контролирую. Единственное, что не может прислать мне уведомление о выселении заказным письмом.

А за окном уже начинался вечер. Московский, летний, с запахом нагретого асфальта и где-то далекого дождя. Где-то в городе, в каком-то стерильном офисе с панорамными окнами и кофе-машиной, сидел человек по имени Глеб Волков и, наверное, чертил прямые линии.

А здесь, в пыльной мастерской с ангелочками на потолке, сидела я и рисовала кривые. Потому что кривые — это жизнь. А прямые линии — это чертеж. И я собиралась доказать этому человеку, что жизнь — она всегда важнее чертежа. Даже если мне придется для этого перевернуть его мир с ног на голову. Наполеон, устроившись на своем кресле, закрыл глаза и замурлыкал. И в этом мурлыканье, мне показалось, было что-то вроде боевого гимна.

Завтра я пойду в «Новый Горизонт».

Завтра я встречу Глеба Волкова.

Завтра начнется война.

И, как любая настоящая война, она начнется не с пушек, а с одной нелепой случайности, одного неверного слова и одного кота, который считает, что он хозяин положения.

Глава 2

Я не спала всю ночь.

Ну, то есть технически я спала. Часа три, может, четыре. Но это был не сон, а какое-то странное полусуществование, в котором я то ли лежала на оттоманке, то ли стояла перед Глебом Волковым и объясняла ему, почему его коворкинг — это преступление против человечества, то ли сидела в бывшем ателье в Тушино и разговаривала с безголовым манекеном, который, как выяснилось, был очень интересным собеседником и понимал толк в старинной мебели.

Наполеон, надо сказать, спал отлично. Он спал так, будто всю жизнь только и делал, что спал на бархатном кресле в мастерской, которая вот-вот должна была перестать существовать. Периодически он открывал один глаз, смотрел на меня с выражением «ты все еще не спишь, женщина? Это ненормально», и закрывал глаз обратно.

К утру я составила план.

План был гениален. Он был прост. Он был неизбежен, как восход солнца и как тот момент, когда ты понимаешь, что забыла выключить утюг, а поезд уже ушел.

План состоял из трех пунктов:

****Пункт первый.**** Пойти к Глебу Волкову лично. Не звонить, не писать на email, а именно прийти. Потому что по телефону можно игнорировать. По email — тем более. А вот когда ты стоишь перед человеком в его собственном кабинете, игнорировать тебя гораздо сложнее. Особенно если ты женщина с котом.

****Пункт второй.**** Произвести впечатление. Не в смысле «понравиться» — господи упаси, я не собираюсь соблазнять человека, который выглядит, будто его собирали по ГОСТу. А в смысле «показать, что я не просто сумасшедшая реставратор, а полезный, адекватный, профессиональный человек, с которым можно иметь дело».

****Пункт третий.**** Предложить сделку. Я не знала, какую именно, но что-нибудь придумаю по ходу дела. В конце концов, я реставратор.

— Наполеон, — сказала я, вставая с оттоманки и чувствуя, как хрустит каждый сустав. — Я иду воевать.

Наполеон открыл оба глаза, посмотрел на меня и медленно моргнул. Этот жест, как я уже говорила, у сфинксов означал что-то вроде: «Ну-ну. Посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, ничего хорошего».

— Спасибо за поддержку, — вздохнула я. — Ты всегда знаешь, что сказать.

Я пошла к умывальнику, умылась ржавой водой (привет, пушкинские времена), посмотрела в зеркало и ужаснулась.

Из зеркала на меня смотрела женщина, которая, мягко говоря, не производила впечатления «полезного, адекватного, профессионального человека». Волосы торчали в три стороны, под глазами были мешки, в которые можно было складывать орехи, а на носу — все еще оставалось пятно от лака, которое, как выяснилось, было уже не просто пятном, а каким-то стойким татуажем.

— Так, — сказала я своему отражению. — Сейчас мы это исправим. Сейчас мы сделаем из тебя человека.

Я попыталась расчесать волосы. Расческа застряла где-то в районе макушки и отказалась двигаться дальше. Я потянула сильнее. Расческа издала звук, похожий на стон, и сломалась пополам.

— Отлично, — сказала я. — Просто отлично. Это как раз то, что мне нужно перед важной встречей.

Я плюнула на волосы, собрала их в хвост, который тут же начал распадаться, и решила, что это называется «творческий беспорядок». Что это стиль. Что это модно. Что Глеб Волков, наверное, вообще не замечает таких мелочей, потому что он, наверное, смотрит только на чертежи.

Потом я перешла к одежде.

Одежда — это была отдельная история. У меня в мастерской, в старом шкафу, который когда-то принадлежал еще какой-то графине (или не графине, я уже не помнила), висело примерно десять вещей, которые можно было назвать «одеждой для выхода в свет». То есть для выхода из мастерской в ближайший магазин за хлебом.

Я открыла шкаф и начала перебирать.

Первое — белая блузка. Я вытащила ее, развернула и увидела, что на ней, в районе груди, было пятно от морилки цвета «темный дуб». Пятно было большое. Пятно было заметное. Пятно было таким, что его невозможно было не заметить, даже если ты слепой.

— Ладно, — сказала я. — Это не пятно. Это... это декор. Это авторский дизайн. Это эксклюзив.

Я поискала брошку. Нашла — старую, с камушком, который, как мне казалось, был то ли рубином, то ли просто красным стеклом. Я приколотла брошку прямо на пятно.

— Вот, — сказала я. — Теперь это не пятно. Теперь это акцент.

Второе — черные брюки.

Третье — пиджак. Серый, строгий, якобы деловой. Я вытащила его, надела, посмотрела в зеркало и поняла, что он мне мал. В плечах. И в груди. И в животе.

— Это не я потолстела, — сказала я зеркалу. — Это пиджак сел. После стирки. Хотя я его не стирала. Но он все равно сел.

Я попыталась застегнуть пуговицы. Первая застегнулась. Вторая застегнулась с трудом. Третья — не застегнулась вообще. Она просто смотрела на меня с выражением «даже не пытайся».

— Ладно, — сказала я. — Это модно. Это называется «оверсайз наоборот».

Я покрутилась перед зеркалом. Из зеркала на меня смотрела женщина в белой блузке с брошкой, в черных брюках, в сером пиджаке, который был ей мал. Волосы торчали. Под глазами были мешки. На носу — пятно от лака.

— Великолечно, — сказала я. — Просто королева. Королева делового стиля.

Наполеон, который до этого молча наблюдал за моими сборами с кресла, вдруг издал звук. Это было что-то среднее между фырканием и кашлем. Это был звук, который означал: «Женщина, ты серьезно? Ты серьезно пойдешь так на важную встречу? Ты выглядишь как... как...»

— Как кто? — спросила я, оборачиваясь к нему.

Наполеон не ответил. Он просто отвернулся и начал делать вид, что меня не существует.

— Спасибо, — сказала я. — Ты всегда знаешь, что сказать.

Я решила, что менять наряд не буду. Потому что, во-первых, другого у меня не было. А во-вторых, если Глеб Волков будет смотреть на мою одежду, а не слушать мои аргументы, значит, он не тот человек, с которым стоит иметь дело.

Хотя, судя по всему, он именно тот человек, с которым стоит иметь дело. Потому что он единственный, кто может решить мою проблему.

Я начала собирать сумку.

Сумка у меня была большая, кожаная, с кучей карманов и отделений. В ней обычно лежало все что угодно, кроме того, что нужно было в конкретный момент.

Я открыла сумку и начала складывать.

Первое — документы. То есть те документы, которые у меня были. Договор аренды мастерской (просроченный, но все же). Квитанции об оплате (за последний год). Какие-то бумаги от Аркадия Семеныча (я не знала, зачем они мне, но решила, что вдруг пригодятся).

Второе — визитка Глеба. Я положила ее в специальный кармашек, чтобы не потерять.

Третье — ручку и блокнот. Чтобы записывать, если он будет говорить что-то важное. Хотя я не знала, что он может сказать важного, кроме «нет».

Четвертое — телефон. Заряженный (надеюсь).

Пятое — кошелек. В котором было триста рублей, две карты (одна с нулевым балансом, вторая — та самая, на которой было сорок семь тысяч) и какая-то старая фотография (я не помнила, чья).

Шестое — расческу. Ту самую, сломанную. Потому что вдруг пригодится.

Седьмое — носовой платок. Потому что вдруг заплачу.

Восьмое...

Я остановилась. Что еще? Что еще может понадобиться женщине, которая идет на важную встречу?

И в этот момент мой взгляд упал на рабочий стол. На верстак. На банки с лаком, на кисточки, на инструменты.

И я вдруг подумала: а вдруг он спросит, что я реставрирую? Вдруг ему нужно будет показать примеры моей работы? Вдруг я должна буду продемонстрировать свой профессионализм?

Я схватила баночку с лаком — ту самую, цвета «венге», которая пахла шоколадом и разочарованием. Положила ее в сумку.

Потом схватила кисточку. Тоже положила.

Потом — кусочек бархата. Тоже положила.

Потом — какую-то бронзовую накладку (ту самую, которую я вчера получила от курьера). Тоже положила.

Потом — лупу. Тоже положила.

Потом — баночку с золотой поталью. Тоже положила.

Я остановилась, посмотрела на сумку и поняла, что она уже не закрывается.

— Ладно, — сказала я. — Это не сумка. Это... это портфолио. Это демонстрационный набор. Это... это мой профессиональный арсенал.

Наполеон посмотрел на сумку, потом на меня, и медленно, очень медленно моргнул. Этот жест означал: «Ты несешь с собой лак и кисточки на деловую встречу. Ты ненормальная».

— Я не ненормальная, — сказала я ему. — Я просто... подготовленная.

Я застегнула сумку (с трудом), накинула ее на плечо (сумка была тяжелой, как мешок с картошкой), и пошла к двери.

— Ну все, — сказала я Наполеону. — Я иду. Ты тут сиди, охраняй мастерскую. Если кто-то придет — скажи, что я вернусь скоро. Если это будет Глеб — скажи, что я его ненавижу. Если это будет Валентина Игоревна — скажи, что ее комод будет готов через неделю.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «я кот, я не разговариваю с людьми, особенно с ненормальными», и закрыл глаза.

— Спасибо, — сказала я. — Ты всегда знаешь, что сказать.

Я открыла дверь, вышла на лестничную клетку, и в этот момент колокольчик на двери зазвенел так, будто в мастерскую ворвалась стая серебряных птиц.

Я обернулась, посмотрела на мастерскую в последний раз. На оттоманку, на которой спала. На верстак, за которым работала. На Наполеона, который сидел на кресле и делал вид, что его не существует. На ангелочков на потолке, которые смотрели на меня с легким осуждением.

— Я вернусь, — сказала я им. — Я обязательно вернусь. Я почию это. Я все почию. И я вышла, закрыв за собой дверь.

А впереди меня ждал человек-угольник. Человек прямых линий. Человек, который, судя по всему, не верил ни в любовь, ни в истории, ни в шрамы.

Но я верила.

И я собиралась доказать ему, что жизнь — она всегда важнее чертежа.

Даже если мне придется для этого перевернуть его мир с ног на голову.

Даже если мне придется для этого разбить баночку с лаком на его идеально белом полу.

Хотя, постойте. Откуда я знала, что разобью?

Ну, я же женщина. Я же чувствую.

Спускаться по лестнице моего особняка было всегда немного страшно. Лестница была старая, деревянная, и каждая ступенька знала свой собственный характер. Первая скрипела басом, вторая — тенором, третья — вообще молчала, что было подозрительно, потому что молчащие ступеньки обычно самые коварные. Я уже научилась их обходить.

Сумка оттягивала плечо. В ней булькало что-то тяжелое — видимо, лак. Или бронзовая накладка. Я уже не помнила, что именно туда положила. Главное — помнила, зачем иду.

На улице было жарко. Июль в Москве — это не лето, это испытание на прочность. Асфальт плавился, воздух дрожал, а я в своем «деловом» пиджаке, который был мне мал, чувствовала себя индейцем в скафандре.

— Такси, — сказала я себе. — Мне нужно такси. Я не пойду на важную встречу в метро. В метро я потеряю и без того хрупкое достоинство.

Я подняла руку. Проехало пять машин. Ни одна не остановилась. Шестая остановилась, но водитель посмотрел на мой наряд, на сумку, на пятно от лака на носу (которое я, как выяснилось, не смыла) и медленно поехал дальше.

— Спасибо, — сказала я ему в спину. — Вы тоже правы.

Седьмая машина все-таки остановилась. Водитель — пожилой мужчина с усталыми глазами — посмотрел на меня и спросил:

— Куда везти-то, дочка?

— В бизнес-центр «Горизонт-Плаза», — сказала я. — На Тверской.

Он хмыкнул.

— Серьезное место. Ты там работаешь?

— Нет, — сказала я. — Я туда иду воевать.

Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, потом на сумку, из которой, как мне показалось, начала высовываться кисточка.

— Понятно, — сказал он. — Держись, дочка.

— Спасибо, — сказала я. — Я стараюсь.

Дорога заняла сорок минут. Сорок минут, в течение которых я смотрела в окно и думала о том, как буду говорить с Глебом. Я репетировала фразы. «Уважаемый Глеб Николаевич, я понимаю вашу позицию, но...» — нет, слишком покорно. «Слушайте, Волков, вы не имеете права...» — нет, слишком агрессивно. «Мне некуда идти, у меня кот...» — нет, слишком жалко.

Я не знала, что сказать. Я знала только одно: я не уйду.

«Горизонт-Плаза» оказался зданием, которое, как мне показалось, построили инопланетяне, чтобы изучать землян. Стекланный куб, уходящий в небо. Никаких украшений, никаких деталей, никаких намеков на то, что внутри могут находиться живые люди. Только стекло, сталь и отражение неба, которое, как назло, было идеально синим.

Я вышла из такси, посмотрела на здание снизу вверх и почувствовала себя муравьем, который заблудился.

— Ну, — сказала я себе. — Приехали.

Я подошла к входу. Двери были стеклянные, автоматически открывающиеся. Я сделала шаг — они открылись. Еще шаг — они открылись шире. Я остановилась. Они тоже остановились.

— Странные, — пробормотала я и вошла внутрь.

Внутри было холодно. Не просто прохладно — холодно. Как в морге. Или как в том самом лофте на Курской, куда я, к счастью, не переехала. Кондиционеры гудели где-то высоко, под потолком, и создавали тот самый звук, который бывает в местах, где люди очень серьезные и очень занятые.

На ресепшн сидела девушка. Девушка была идеальна. Идеальные волосы, идеальный макияж, идеальный костюм, идеальная улыбка. Она выглядела так, будто ее собрали по чертежу — как Глеба. Только Глеб был мужского пола, а эта девушка — женского. Но принцип был тот же.

— Добрый день, — сказала она. — Чем могу помочь?

— Добрый день, — сказала я. — Мне нужен Глеб Николаевич Волков.

Она посмотрела на меня. На мой пиджак, который был мне мал. На мою блузку с брошкой. На мою сумку, из которой теперь определенно высовывалась кисточка. На мое пятно от лака на носу.

Ее идеальная улыбка дрогнула. Но только на долю секунды.

— У вас назначена встреча? — спросила она.

— Нет, — сказала я. — Но ему нужно меня увидеть.

— Я могу записать вас на...

— Нет, — перебила я. — Мне нужно сейчас. Это срочно.

Она посмотрела на меня еще раз. Потом взяла телефон.

— Глеб Николаевич, к вам женщина. Без записи. Говорит, срочно... Да... Нет, я не знаю, по какому вопросу... Да... Хорошо.

Она положила трубку и посмотрела на меня с выражением, которое можно было перевести как: «Вам повезло. Но ненадолго».

— Он вас примет, — сказала она. — Тридцать второй этаж. Лифт направо.

— Спасибо, — сказала я.

Я пошла направо. Лифт был стеклянный. Я зашла внутрь, и двери закрылись. Лифт поехал вверх. Я смотрела, как подо мной уменьшается холл, как становятся маленькими люди, как ресепшионистка превращается в точку.

Мне стало не по себе.

Я всегда плохо переносила высоту. А тут еще тридцать второй этаж. И стеклянные стены. И ощущение, что я лечу вверх в какой-то капсуле, которая вот-вот разобьется о небо.

— Держись, — сказала я себе. —

Лифт остановился. Двери открылись. Я вышла.

И попала в другой мир.

Коридор был длинный, белый, с идеальным полом, который блестел так, что в нем отражались мои туфли.

По коридору ходили люди. Молодые, красивые, в наушниках, с планшетами, с кофе в стаканчиках. Они не смотрели по сторонам. Они не смотрели друг на друга. Они смотрели в свои телефоны или в свои планшеты, или, может быть, в свои мысли, которые, судя по всему, были такими же прямыми и стерильными, как этот коридор.

На стенах не было картин. Только черно-белые фотографии. Абстрактные. Какие-то линии, какие-то формы, какие-то тени. Я остановилась перед одной, пытаюсь понять, что на ней изображено. Это было похоже на... на чертеж. Или на след от чашки на столе. Или на...

— Простите, — сказал кто-то за моей спиной.

Я обернулась. Молодой человек в костюме смотрел на меня с легким раздражением.

— Вы загораживаете проход, — сказал он.

— Ой, — сказала я. — Извините.

Я отошла в сторону. Он прошел, даже не посмотрев на меня.

Я пошла дальше. Искала кабинет Глеба. Номера кабинетов были на дверях. Маленькие, аккуратные, из нержавеющей стали. 3201. 3202. 3203.

Я шла и чувствовала, как внутри меня растет что-то странное. Не страх. Не паника. А ощущение, что я попала в место, где мне не просто не рады, где меня вообще не должны были видеть. Как будто я была ошибкой. Как будто я — та самая трещина на фарфоре, которую нужно не чинить, а выбросить.

3207. 3208. 3209.

Я остановилась перед дверью с табличкой: **«Глеб Николаевич Волков. Главный архитектор»**.

Дверь была стеклянная. Матовая. За ней виднелись какие-то силуэты. Я подняла руку, чтобы постучать. И замерла.

Внутри, за стеклом, я увидела его.

Он стоял у окна. Высокий, худой, в том самом тёмно-синем костюме. Он смотрел в окно — на Москву, которая отсюда, с тридцать второго этажа, выглядела как макет. Как игрушка. Как что-то, что можно перестроить, передвинуть, изменить.

Он не видел меня. Но я видела его.

И в этот момент я поняла странную вещь.

Он стоял так, будто был один. Но в его позе было что-то... одинокое. Не в смысле жалкое. А в смысле — он был как стрелка на компасе. Всегда указывающая на север. Всегда прямая. Всегда одна.

Я постучала.

Он обернулся. Посмотрел на дверь. Увидел меня.

И на его лице — на этом идеальном, стерильном лице — на долю секунды появилось что-то. Не удивление. Не раздражение. А что-то другое. Что-то, что я не успела разглядеть.

Потом лицо снова стало прежним. И он сказал:

— Войдите.

Я толкнула дверь. И вошла в мир прямых линий.

Кабинет Глеба Волкова был таким, каким и должен быть кабинет человека, который верит в прямые линии.

Никаких лишних деталей. Никаких картин на стенах. Никаких сувениров из командировок, фотографий семьи, кактусов на подоконнике. Только стол — огромный, из какого-то светлого дерева, которое, как мне показалось, стоило как моя мастерская за год. Два монитора. Графический планшет. Стопка чертежей, уложенных с точностью до миллиметра. И кресло — кожаное, черное, с высокой спинкой, в котором Глеб сидел так, будто был его продолжением.

Единственное, что нарушало эту стерильную гармонию, — небольшая полка в углу. На ней стояли... странные предметы. Маленькие, зеленые, с круглыми глазами. Я не сразу поняла, что это. Присмотрелась.

Фарфоровые лягушки.

Целая коллекция. штук двенадцать, если не больше. Разного размера, разного стиля — от классического севрского до какого-то современного, авангардного. Они сидели на полке ровными рядами, как солдатики, и смотрели на меня своими круглыми, немного печальными глазами.

Я едва удержалась, чтобы не улыбнуться. Вот тебе и «человек-угольник». Вот тебе и «прямые линии». У этого аскета, оказывается, есть слабость. И слабость эта — фарфоровые лягушки.

Но я не стала комментировать. Пока.

Глеб поднялся из-за стола. Встал. И я поняла, что он еще выше, чем мне показалось вчера. Под два метра, наверное. Или мне так показалось снизу вверх.

— Мадам Нестерова, — сказал он. — Я не ожидал вас так скоро увидеть.

— Я человек решительный, — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Если есть проблема, я предпочитаю решать ее сразу.

— Прошу, — он указал на кресло напротив стола. — Садитесь.

Я села. Кресло было удобным. Слишком удобным для человека, который пришел воевать. Я почувствовала, как напряженная поза начинает расслабляться, и мысленно дала себе пощечину. «Соберись, Нестерова. Ты пришла не отдыхать».

Глеб сел напротив. Положил руки на стол. Посмотрел на меня тем самым взглядом, который, видимо, отрабатывал перед зеркалом. Холодный, оценивающий, профессиональный.

— Итак, — сказал он. — Какой у вас вопрос?

— Вопрос простой, — ответила я. — Можно ли пересмотреть решение о моем выселении?

Он едва заметно вздохнул. То есть его грудь приподнялась на миллиметр и опустилась обратно.

— Мадам Нестерова, я вчера все объяснил. Здание куплено под конкретный проект. Сроки утверждены. Инвесторы...

— Я знаю, что такое инвестиционные проекты, — перебила я. — Я не вчера с улицы пришла.

Он поднял бровь. Это было первое живое движение на его лице за все время.

— В самом деле? — спросил он. — И что же вы знаете?

— Я знаю, что любой проект можно скорректировать, если найти точку, где интересы сторон пересекаются. — Я наклонилась вперед. — Глеб Николаевич, я пришла не просить. Я пришла предложить.

— Предложить? — В его голосе появилась легкая нотка. Не насмешки. Скорее — любопытства.

— Да. — Я достала из сумки блокнот. Не тот, в который я вчера записывала список покупок, а тот самый, кожаный, который мне подарил Аркадий Семеныч на выпускной в Строгановке. — Я реставратор. Профессиональный реставратор. Окончила МГХПА имени Строганова, кафедра декоративно-прикладного искусства. Специализация — реставрация мебели и предметов интерьера XVIII-XIX веков. Два года стажировалась во Флоренции, в мастерской *Orificio delle Pietre Dure*. Это, если вы не в курсе, один из ведущих реставрационных центров мира.

Он смотрел на меня. И в его взгляде что-то изменилось. Не сильно. Но изменилось.

— Продолжайте, — сказал он.

— Мои работы находятся в частных коллекциях в Москве, Петербурге, Париже. Я реставрировала мебель для одного из залов Петергофа — после наводнения, помните? Я работала с северским фарфором, с флорентийской мозаикой, с русским ампиrom. Я знаю, как работать с историческими зданиями. Я знаю, как сохранить то, что имеет ценность, и интегрировать это в новое пространство.

Я говорила спокойно, уверенно. Без надрыва. Без жалости к себе. Я говорила как профессионал с профессионалом. И видела, как Глеб

начинает меня слушать — по-настоящему, а не как «проблемную арендаторшу».

— И что вы предлагаете? — спросил он.

— Я предлагаю сотрудничество. — Я открыла блокнот. — Ваше здание — это исторический особняк. Да, вы хотите сделать коворкинг. Но вы можете сделать коворкинг с историей. Не просто стеклянные стены и пластиковые столы, а пространство, в котором есть душа. Сохраните лепнину. Сохраните камин. Сохраните паркет. А я помогу. Я отреставрирую то, что нужно восстановить. Я подберу мебель, которая впишется в концепцию. Я сделаю так, чтобы ваше пространство не было похоже на тысячу других коворкингов. Оно будет уникальным.

Он молчал. Смотрел на меня. Потом перевел взгляд на блокнот, где я набросала несколько эскизов — как может выглядеть пространство, если сохранить исторические детали.

— Вы... рисуете? — спросил он.

— Немного, — кивнула я. — Это не шедевры. Но это видение.

Он взял блокнот. Посмотрел на эскизы. Листал медленно, внимательно. И в этот момент я увидела то, что не видела вчера.

У него были красивые руки. Длинные пальцы. Ухоженные ногти. Руки человека, который тоже работает — не только головой, но и руками. Руки архитектора.

Он положил блокнот на стол.

— Это интересно, — сказал он. — Но решение уже принято.

— Решение можно изменить.

— Мадам Нестерова...

— Кира. — Я посмотрела ему в глаза. — Меня зовут Кира. Не Малам Нестерова. Кира. Он замер. На долю секунды. Потом кивнул.

— Кира, — повторил он. Как будто пробовал имя на вкус. — Хорошо. Кира. Я ценю вашу... страсть. Ваш профессионализм. Ваши аргументы. Но есть контракт. Есть инвесторы. Есть сроки. Я не могу...

— Вы можете, — перебила я. — Вы главный архитектор. Вы можете предложить альтернативную концепцию. Вы можете показать инвесторам, что сохранение исторических деталей — это не убытки, а преимущество. Это уникальное торговое предложение. Ваш коворкинг будет не просто местом для работы. Он будет местом, куда приходят ради атмосферы. Ради истории. Ради...

Я замолчала. Потому что поняла, что говорю слишком много. Слишком эмоционально. Слишком... как Кира, а не как деловой партнер.

Глеб смотрел на меня. И в его взгляде было что-то новое. Не раздражение. Не холод. А что-то... похожее на уважение.

— Вы всегда так говорите? — спросил он.

— Так, как?

— Так... увлеченно. Так, будто речь идет не о помещении, а о чем-то большем.

Я пожала плечами.

— Для меня это и есть что-то большее. — Я посмотрела вокруг. — Вот вы. Вы архитектор. Вы создаете пространства. Для чего? Чтобы люди жили? Работали? Любили? Или просто чтобы заполнить квадратные метры?

Он не ответил сразу. Смотрел в окно. Потом сказал тихо:

— Чтобы люди чувствовали себя... нужными. Чтобы пространство помогало им быть лучше.

Я улыбнулась.

— Вот. Значит, мы об одном.

Он посмотрел на меня. И на мгновение — всего на мгновение — я увидела в его глазах что-то настоящее. Не маску. Не образ. А его. Живого. Усталого. Одинокого.

Потом он моргнул. И маска вернулась.

— Кира, — сказал он. — Я понимаю вашу позицию. Но...

Он не закончил. Потому что в этот момент из моей сумки, которая стояла на полу рядом с креслом, раздался странный звук.

Бульканье.

Я посмотрела вниз. Сумка была приоткрыта. И из нее, медленно, но верно, вытекала темно-коричневая жидкость.

Лак.

Тот самый лак цвета «венге», который я положила в сумку. Который, видимо, не был закрыт достаточно плотно. И который теперь растекался по идеально белому полу кабинета Глеба Волкова.

— О боже, — выдохнула я.

Глеб посмотрел вниз. На лак. На пол. На меня.

Его лицо... О, его лицо. Это было что-то. Это было выражение человека, который только что увидел, как на его идеально белый ковер упал метеорит. Не просто удивление. Не просто раздражение. А что-то близкое к экзистенциальному ужасу.

— Это... — начал он.

— Это лак, — сказала я, падая на колени и хватая салфетки. — Это лак цвета «венге». Он пахнет шоколадом. Он очень стойкий. Сейчас я все вытру...

Но лак уже растекался. По белому полу. По идеальному, стерильному, прямому полу. Он растекался кривыми, хаотичными линиями. Он пачкал все, к чему прикасался. Он был хаосом в мире порядка.

Глеб тоже опустился на колени. Взял салфетки. Начал вытирать. Наши руки столкнулись. Мы оба замерли.

Его рука была теплой. Моя — холодной. Его пальцы — длинные, аккуратные. Мои — в пятнах от потали.

Мы посмотрели друг на друга.

— Вы... — начал он. — Вы всегда носите с собой лак?

Я посмотрела на него. На его лицо, которое было в сантиметре от моего. На его серые глаза, в которых больше не было холода. На его губы, которые были чуть приоткрыты.

— А вы... — начала я. — А вы всегда...

Я не закончила. Потому что не знала, что он носит с собой. Но я знала, что он носит с собой что-то. Что-то, что он прячет за своими прямыми линиями. Что-то, что я начала разгадывать.

И в этот момент я поняла: это не просто враг. Это не просто «человек-угольник». Это человек. Живой. Настоящий. С фарфоровыми лягушками на полке и теплыми руками.

И я... я хотела узнать его.

Но лак продолжал растекаться. И нам обоим пришлось вернуться к реальности.

— Это не сотрется, — сказал он тихо.

— Я знаю, — вздохнула я. — Простите. Я... я не специально.

Он посмотрел на меня. И, клянусь, в уголках его губ дрогнуло что-то похожее на улыбку.

— Ничего, — сказал он. — Это... это первый хаос в моем кабинете за три года.

Я улыбнулась в ответ.

— Может быть, хаос — это не так уж плохо?

Он не ответил. Но и не возразил.

А лак продолжал растекаться. И в этом растекании было что-то символическое. Что-то, что начинало менять нас обоих.

Медленно. Неудержимо. Как хорошая реставрация.

Глава 3

Такси везло меня домой через всю Москву, и я смотрела в окно, не видя ничего.

Нет, вру. Видела. Видела, как мелькают витрины, как люди спешат по тротуарам, как где-то на углу бабушка продает цветы — простые полевые ромашки в грязной банке из-под майонеза. Видела, как мальчик лет пяти бежал за голубем и упал, а мама подняла его, отряхнула и поцеловала в макушку. Видела, как мир живет свою обычную жизнь, в которой нет никаких коворкингов, никаких инвесторов, никаких выселений.

А я сидела в такси, сжимая в руках сумку — ту самую, в которой все еще оставался след от пролитого лака, — и думала о нем.

О Глебе Волкове.

О человеке-угольнике. О человеке прямых линий. О человеке, у которого на полке стоят фарфоровые лягушки.

— Странный, — сказала я вслух.

Водитель, пожилой мужчина с усталыми глазами, посмотрел на меня в зеркало заднего вида.

— Кто странный, дочка?

— Один человек, — ответила я. — Архитектор.

— А, — кивнул он. — Архитекторы все странные. Они все время что-то чертят.

— Этот тоже чертит, — сказала я. — Но у него еще и лягушки есть.

Водитель хмыкнул.

— Лягушки — это хорошо. Лягушки — к деньгам.

— К деньгам? — переспросила я.

— Ну да. Примета такая. Если лягушка в дом забежала — жди прибыли. А если у человека лягушки на полке стоят — значит, он богатый.

Я посмотрела на него. На его усталое лицо. На его мудрые глаза.

— Знаете что, — сказала я. — Вы, наверное, правы. Может быть, лягушки — это и правда к деньгам.

Он улыбнулся.

— Вот и славно. Держись, дочка.

— Спасибо, — сказала я. — Я стараюсь.

Такси остановилось у моего особняка. Я расплатилась, вышла, посмотрела на здание. Старое, потрепанное, с облупившейся штукатуркой, с кривыми окнами, с лепниной, которая местами уже осыпалась. Но мое. Родное.

Я поднялась по лестнице. Первая ступенька скрипнула басом. Вторая — тенором. Третью я обошла — она молчала, а значит, была коварной.

Открыла дверь. Колокольчик зазвенел.

— Наполеон! — позвала я. — Я дома!

Наполеон сидел на своем кресле у камина. Посмотрел на меня. И не двинулся с места.

Это было плохим знаком.

Обычно, когда я возвращалась домой, он хотя бы делал вид, что рад. Подходил, терся о ногу, мурлыкал. А сейчас — сидел и смотрел. С выражением лица, которое можно было перевести как: «Ну-ну. Посмотрим, что ты мне скажешь, женщина. Ты ушла на восемь часов. Восемь. Часов. Я думал, ты умерла. Или вышла замуж. Или и то, и другое».

— Привет, — сказала я, подходя к нему. — Скучал?

Наполеон медленно моргнул. Этот жест означал: «Скучал? Я? Нет. Я просто считал минуты до твоего возвращения. Чтобы знать, когда начать игнорировать тебя снова».

— Ладно, — вздохнула я, приседая на корточки перед ним. — Прости. Я задержалась. У меня были... проблемы.

Наполеон посмотрел на меня. Потом на сумку. Потом снова на меня.

— Да, — сказала я. — Проблемы. Большие проблемы. В стеклянном здании на тридцать втором этаже. С человеком, у которого на полке стоят лягушки.

Наполеон наострил уши. Лягушки его интересовали. Но он не подал виду.

— И знаешь что? — продолжила я, садясь на пол рядом с его креслом. — Этот человек... он не такой, как я думала.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «ну конечно, он не такой, как ты думала, все они не такие, как ты думаешь, женщина, ты слишком доверчива».

— Нет, ты не понимаешь, — сказала я. — Он... он сложный. Он прячется за своими прямыми линиями. За своими чертежами. За своим идеальным костюмом. Но внутри... внутри он живой.

Наполеон фыркнул.

— Да, я знаю, — сказала я. — Я тоже так думаю. Что я снова попадаюсь на удочку. Что я снова вижу в человеке то, чего там нет. Но... я не знаю. В этот раз... в этот раз мне кажется, что я не ошибаюсь.

Наполеон посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. Потом подошел, потерся о мою руку и тихо замурлыкал.

— Спасибо, — сказала я, глядя его теплую, бархатную спинку. — Спасибо, что выслушал. Ты всегда знаешь, что сказать.

Я встала, пошла на кухню — вернее, в ту часть мастерской, которая выполняла функции кухни, — и поставила чайник. Пока вода закипала, я посмотрела в окно. Видела ту самую соседнюю стену, которую видела каждый день. Видела, как на подоконнике у соседей стоит герань — такая же, как у меня. Видела, как где-то далеко, за крышами, блестит купол церкви.

И думала о Глебе.

О его руках. Длинных, аккуратных. Руках архитектора. Руках, которые тоже работают. О его глазах. Серых, холодных — но только на первый взгляд. На самом деле — теплых. Усталых. Одиноких.

О его улыбке. Той самой, которая появилась, когда лак растекся по полу. Которая длилась всего мгновение. Но которую я запомнила.

— Странный, — сказала я вслух. — Очень странный.

Чайник закипел. Я налила чай в кружку — ту самую, с надписью «Лучший реставратор на свете», — и села за стол.

И в этот момент зазвонил телефон.

Я посмотрела на экран. Мама.

— Мама, — сказала я, отвечая. — Привет.

— Кирочка, — услышала я ее голос. Теплый, мягкий, с легкой московской интонацией. — Как ты? Я волнуюсь. Ты не звонила уже три дня.

— Прости, — сказала я. — Я закрутилась. У меня тут...

— Что случилось? — голос мамы стал напряженным. — Кирочка, что случилось? Ты звучишь... странно.

Я вздохнула. Мама всегда все чувствовала. Она была преподавателем фортепиано, и у нее был абсолютный слух — не только на музыку, но и на эмоции.

— Мам, все нормально, — сказала я. — Просто... у меня проблемы с мастерской.

— Какие проблемы? — она сразу насторожилась. — Тебя выселяют?

— Да, — сказала я. — Здание продали. Под коворкинг.

Она молчала. Потом сказала тихо:

— Кирочка, я же тебе говорила. Я же тебе говорила — не надо было уходить из музея. Там была стабильность. Там была зарплата. Там был соцпакет.

— Мам, — сказала я. — Мы уже это обсуждали.

— Я знаю, — вздохнула она. — Но я все равно переживаю. Ты же... ты же такая талантливая. Ты окончила Строгановку с красным дипломом. Ты стажировалась во Флоренции. Ты могла бы...

— Мам, — перебила я. — Я знаю. Я все знаю. Но я выбрала это. Я выбрала частную практику. Потому что я хочу чувствовать вещи. А не чинить их по инструкции.

Она снова помолчала. Потом сказала:

— Я понимаю, Кирочка. Я просто... я переживаю за тебя. Ты же одна. У тебя нет... у тебя нет никого.

— Мам, — сказала я, чувствуя, как к горлу подступает ком. — У меня есть Наполеон.

— Наполеон — это кот, — сказала она. — Кот — это не человек.

— Знаю, — сказала я. — Но он меня понимает.

Она вздохнула.

— Кирочка, ты же молодая. Красивая. Умная. Почему ты... почему ты не ищешь?

— Мам, — сказала я. — Мы опять об этом?

— Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, — сказала она тихо. — Чтобы у тебя была семья. Чтобы у тебя был кто-то, кто... кто будет тебя любить.

Я закрыла глаза.

— Мам, — сказала я. — Я знаю. Я тоже этого хочу. Но... я не знаю. Может быть, я слишком много работаю. Может быть, я слишком... странная.

— Ты не странная, — сказала она. — Ты особенная. И кто-то это обязательно увидит.

— Может быть, — сказала я. — Может быть.

Мы поговорили еще немного. Она рассказала, как папа опять забыл, куда положил очки (он физик-теоретик, и это у него профессиональное). Как она испекла пирог с яблоками.

Я слушала ее голос, и мне становилось легче. Мама — она как тот самый клей, который склеивает трещины. Не видно, но держит.

— Ладно, — сказала она в конце. — Я тебя не задерживаю. Ты, наверное, устала. Береги себя, Кирочка. И позвони, если что.

— Хорошо, — сказала я. — Люблю тебя, мам.

— И я тебя, — сказала она. — Целую.

Я положила телефон и сидела, держа в руках кружку с чаем. Чай уже остыл, но мне было тепло. От маминого голоса. От ее слов. От того, что где-то далеко, на другом конце Москвы, есть люди, которые меня любят.

Наполеон подошел, потерся о ногу и тихо замурлыкал.

— Все хорошо, — сказала я ему. — Все будет хорошо.

И в этот момент раздался стук в дверь.

Не звон колокольчика — нет, это был именно стук. Короткий, неуверенный. Стук человека, который не уверен, стоит ли ему входить.

Я посмотрела на часы. Восемь вечера. Кто это может быть? Клиенты в это время не приходят. Курьеры тоже.

— Наполеон, — сказала я. — Ты ждешь кого-то?

Наполеон поднял голову, посмотрел на дверь и... нахмурился. У сфинксов, я вам скажу, очень выразительная мимика. Этот нахмуренный взгляд означал что-то вроде: «Там кто-то. И мне это не нравится».

Я встала, пошла к двери, открыла ее.

И увидела его.

Глеба Волкова.

Глеб Волков стоял на пороге моей мастерской, и я не могла поверить своим глазам.

Это был тот же самый человек, которого я видела несколько часов назад в его стерильном кабинете на тридцать втором этаже. Тот же темно-синий костюм. Та же идеальная укладка. Те же холодные, серые глаза. Но что-то в нем изменилось.

Он выглядел... потерянным.

Не в смысле жалким. Не в смысле растерянным. А в смысле — как человек, который случайно забрел не туда. Как будто он открыл дверь в свой мир прямых линий, а попал в другой. В мой мир. В мир кривых линий, пыльных ангелочков и запаха старого дерева.

В руках у него был мой блокнот. Тот самый, кожаный, который я забыла в его кабинете.

— Мадам Нестерова... — начал он.

— Кира, — машинально поправила я.

Он замер. Потом кивнул.

— Кира, — повторил он. — Я... я привез ваш блокнот.

— А, — сказала я, чувствуя, как у меня начинает дергаться глаз. — Спасибо. Вы могли бы прислать курьера. Или... не знаю... положить в почтовый ящик.

— Я подумал, что там могут быть важные заметки, — сказал он. — Эскизы. Ваши предложения.

— Мои предложения? — переспросила я. — Глеб Николаевич, вы же сказали, что решение окончательное. Какие еще предложения?

Он посмотрел на меня. И в его взгляде было что-то новое. Не холод. Не раздражение. А что-то... похожее на сомнение.

— Я подумал, что стоит еще раз посмотреть, — сказал он. — На ваши... аргументы.

Я смотрела на него и не понимала. Этот человек — тот самый, который сегодня сидел в своем стеклянном кабинете и говорил, что я «проблемная арендаторша» — сейчас стоял на пороге моей мастерской и говорил, что хочет «еще раз посмотреть» на мои аргументы.

Что-то здесь было не так.

— Вы хотите войти? — спросила я, потому что стоять в дверях, как две статуи, было как-то... неправильно.

Он посмотрел за мою спину. В мастерскую.

— Если это не нарушает... — начал он.

— Нет, — сказала я. — Не нарушает. Заходите.

Я отошла в сторону, и он вошел.

И в этот момент Наполеон решил действовать.

Кот, который до этого мирно сидел на своем кресле и делал вид, что его не существует, вдруг поднял голову. Увидел Глеба. И... зашипел.

Это было не просто шипение. Это было шипение, которое могло бы войти в учебники по фелинологии. Это было шипение, в котором было все: и презрение, и ужас, и возмущение, и угроза. Это было шипение, которое говорило: «Ты. Ты, человек в костюме. Ты посмел войти в мой дом. Ты посмел нарушить мои границы. Я тебя уничтожу».

Глеб остановился. Посмотрел на Наполеона. Наполеон посмотрел на него.

— Ваш кот... — начал Глеб.

— Наполеон, — сказала я. — Его зовут Наполеон. И он... он не любит чужаков.

— Я вижу, — сухо сказал Глеб.

Наполеон не спускал с него глаз. Он сидел на кресле, как маленький лысый король на троне, и шипел. Тихо, но угрожающе. Как пар из чайника, который вот-вот взорвется.

— Он... он опасный? — спросил Глеб, не отводя взгляда от кота.

— Нет, — сказала я. — Он просто... принципиальный. Он считает, что это его территория. И он прав.

Глеб посмотрел на меня. Потом снова на Наполеона.

— Понятно, — сказал он. — Тогда, может быть, мне лучше...

— Нет, — сказала я. — Оставайтесь. Он успокоится. Он просто... протестует.

Глеб посмотрел на меня с выражением лица, которое можно было перевести как: «Вы серьезно? Вы хотите, чтобы я остался в помещении, где меня ненавидит кот?»

— Да, — сказала я. — Оставайтесь.

Он вздохнул. И остался.

Я закрыла дверь, и колокольчик зазвенел. Наполеон, услышав звон, шипеть перестал, но не расслабился. Он сидел на кресле и смотрел на Глеба так, будто тот был не человеком, а каким-то особенно мерзким насекомым.

— Прошу, — сказала я, указывая на стол. — Садитесь.

Глеб посмотрел на стол. На верстак. На банки с морилкой. На инструменты. На чашку из севрского фарфора, которая стояла на краю и ждала, когда я продолжу работу.

— Это... ваше рабочее место? — спросил он.

— Да, — кивнула я. — А что?

— Оно... — он искал слово. — Оно хаотичное.

— Оно живое, — поправила я. — Хаос — это когда вещи лежат не на своих местах. А здесь все на своих местах. Просто мест много.

Он посмотрел на меня. Потом на стол. Потом снова на меня.

— Может быть, — сказал он. — Может быть, вы правы.

И он сел. Я села напротив. Между нами лежал мой блокнот. Тот самый, который он принес.

— Спасибо, — сказала я, протягивая руку.

Он не отдал блокнот сразу. Он посмотрел на него. Потом на меня.

— Я... я посмотрел ваши эскизы, — сказал он. — Те, что вы набросали вчера.

— И? — спросила я, чувствуя, как у меня начинает колотиться сердце.

— Они... интересные, — сказал он. — Не то, что я привык видеть. Но... интересные.

— Что именно? — спросила я.

Он помолчал. Потом сказал:

— Вы думаете не как реставратор. Вы думаете как... как человек, который чувствует пространство.

Я посмотрела на него. И поняла, что он не льстит. Он говорит то, что думает.

— Спасибо, — сказала я. — Это... это комплимент.

— Это наблюдение, — поправил он. — Я архитектор. Я вижу пространство. Вы... вы тоже его видите. Но по-другому.

— Как? — спросила я.

— Я вижу линии, — сказал он. — Формы. Структуру. А вы... вы видите истории.

Я смотрела на него и не могла поверить, что он это говорит. Что он это видит. Что он понимает.

— Да, — сказала я тихо. — Я вижу истории.

Он кивнул. Потом встал и начал осматриваться.

Он подошел к комоду — тому самому, с проклятием, который стоял в углу и ждал, когда я его почию. Посмотрел на него. Провел рукой по крышке.

— Это... старинное? — спросил он.

— Очень, — кивнула я. — Конец XVIII века. Русский ампир.

— А это? — он указал на чашку из севрского фарфора.

— Севр, — сказала я. — Конец XIX века. Трещина. Но я ее почию.

— А это? — он указал на инструменты.

— Это... это мои инструменты, — улыбнулась я. — Стамески. Кисти. Киянки. Лупы.

Он посмотрел на меня. И в его глазах было что-то новое. Не холод. Не раздражение. А... интерес.

— Вы... вы любите это, — сказал он.

— Да, — кивнула я. — Люблю.

— Почему? — спросил он.

Я посмотрела на него. На его лицо, которое было таким серьезным, таким внимательным. И поняла, что он действительно хочет знать.

— Потому что... — начала я. — Потому что вещи — они хорошие. Они не врут. Они не уходят. Они просто ждут, когда их почиют. У каждой вещи есть история. И когда ты чинишь вещь, ты... ты продолжаешь эту историю.

Он смотрел на меня. Долго. Потом сказал тихо:

— Это... красиво.

Я улыбнулась.

— Спасибо.

Он снова посмотрел вокруг. На мастерскую. На вещи. На меня. И я увидела, как он меняется. Как его маска — та самая, стерильная, прямая — начинает трескаться. Как под ней появляется что-то живое. Настоящее.

— Вы... — начал он. — Вы всегда так живете? В этом... хаосе?

— Это не хаос, — сказала я. — Это мой мир.

— И вам... хорошо?

— Да, — кивнула я. — Мне хорошо.

Он посмотрел на меня. Потом на Наполеона, который все еще сидел на кресле и смотрел на него с презрением. Потом снова на меня.

— Я не понимаю, — сказал он. — Как можно... как можно жить так. Без порядка. Без структуры. Без...

— Без прямых линий? — перебила я.

Он посмотрел на меня. И вдруг... улыбнулся.

Не той самой улыбкой, которая появилась вчера, когда лак растекся по полу. А другой. Настоящей. Тёплой.

— Да, — сказал он. — Без прямых линий.

— А зачем они вам? — спросила я. — Прямые линии — это хорошо для чертежей. Но жизнь... жизнь кривая. Жизнь — это не чертеж.

Он смотрел на меня. И в его глазах было что-то... похожее на понимание.

— Может быть, — сказал он тихо. — Может быть, вы правы.

Мы стояли посреди мастерской. Он — в своем идеальном костюме. Я — в блузке с брошкой и брюках. Между нами — мой блокнот. И комод. И чашка. И Наполеон, который все еще шипел, но уже не так угрожающе.

И в этот момент я поняла: что-то изменилось.

Не сильно. Не сразу. Но изменилось.

Он больше не был врагом. Он был... человеком. Который пришел. Который посмотрел. Который начал понимать.

И я... я хотела, чтобы он понял больше.

— Хотите чай? — спросила я вдруг.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Чай?

— Да, — кивнула я. — У меня есть чай. Хороший. С бергамотом. И... есть печенье. Не очень хорошее, но... съедобное.

Он посмотрел на меня. Потом на Наполеона. Потом снова на меня.

— Хорошо, — сказал он. — Давайте чай.

Я улыбнулась. И пошла на кухню — вернее, в ту часть мастерской, которая выполняла функции кухни.

А Глеб остался стоять посреди мастерской. И смотрел вокруг. На вещи. На истории. На мой мир.

И Наполеон, который до этого шипел, вдруг перестал. Он посмотрел на Глеба. И... медленно моргнул.

Это был первый знак. Первый, крошечный знак того, что, может быть, не все так плохо.

Может быть, этот человек — не враг.

Может быть, он... гость.

Я вернулась с чаем. Две кружки — моя, с надписью «Лучший реставратор на свете», и для Глеба — обычная, белая, которую я нашла в шкафу. Она была немного сколотая у ручки, но я решила, что это придает ей шарм. Как патина на старинной мебели.

— Вот, — сказала я, ставя кружку перед ним. — Осторожно, горячий.

— Спасибо, — сказал он, беря кружку. Посмотрел на скол. — Она...

— Сколотая, — кивнула я. — Но это не дефект. Это история.

Он посмотрел на меня. И снова — та самая улыбка. Теплая. Настоящая.

— Вы всегда все превращаете в историю? — спросил он.

— Не всегда, — улыбнулась я в ответ. — Иногда это просто сколотая кружка. Но сегодня — история.

Он усмехнулся. И в этот момент я поняла, что он красив. Не в смысле «идеальный» — нет, у него был слегка горбоватый нос, и одна бровь была чуть выше другой, и когда он улыбался, появлялась маленькая морщинка у левого глаза. Но он был красивый. По-настоящему.

— Кира, — сказал он, ставя кружку на стол. — Я... я принес кое-что.

Он полез в свой портфель — черный, кожаный, идеальный, как и все в его мире. Достал тубус. Развернул. И передо мной оказались чертежи.

Большие, подробные, выполненные с той самой педантичностью, которые я видела вчера в его кабинете. План здания. Разрезы. Фасады. И... эскизы того, каким должен стать коворкинг.

— Это... — начала я, наклоняясь ближе.

— Это концепция, — сказал он. — Та, которую я предложил инвесторам. Стеклянные перегородки. Открытые пространства. Минимализм.

Я смотрела на чертежи. И видела... пустоту. Не в смысле «ничего нет». А в смысле «ничего живого». Это было красиво. Технически безупречно. Но мертво.

— Глеб Николаевич, — сказала я тихо. — Это... это не ваш особняк.

Он посмотрел на меня.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, — сказала я, проводя пальцем над чертежом, — что вы стираете историю. Вы берете здание, у которого есть душа, и превращаете его в... в коробку. Красивую коробку. Но коробку.

Он молчал. Смотрел на чертежи. Потом на меня.

— Инвесторы хотели именно это, — сказал он. — Минимализм. Функциональность.

— Инвесторы хотят деньги, — сказала я. — А люди хотят... что-то большее. Люди хотят чувствовать. Они хотят приходить в место, которое имеет характер. Которое рассказывает историю. Которое...

Я замолчала. Потому что почувствовала, что снова говорю слишком эмоционально. Слишком... как Кира.

Но Глеб не перебил. Он смотрел на меня. И в его глазах было что-то... похожее на понимание.

— Покажите, — сказал он вдруг.

— Что покажите? — не поняла я.

— Покажите, — повторил он. — Как вы видите это пространство. Возьмите карандаш.

Я посмотрела на него. На чертежи. На него снова.

— Вы... вы серьезно?

— Да, — кивнул он. — Покажите.

Я взяла карандаш. Тот самый, который всегда носила с собой — старый, деревянный, с надкусанным концом. И начала рисовать.

Я не рисовала идеально. Мои линии были не такими ровными, как у него. Но я рисовала то, что видела. Я оставила лепнину — ту самую, с ангелочками, которая была на потолке мастерской. Я сохранила камин — даже если он не работал, он был сердцем этого места. Я наменила паркет — тот самый, старый, с историей. И добавила современные элементы — стеклянные перегородки, но не везде, а только там, где это было нужно. Свет. Воздух. Пространство.

Глеб смотрел. Молча. Внимательно.

— Вот здесь, — сказала я, указывая на угол. — Можно поставить зону отдыха. С мягкими креслами. С книжными полками. Чтобы люди могли приходить не только работать, но и... думать.

— Думать? — переспросил он.

— Да, — кивнула я. — Думать. Разговаривать. Просто быть.

Он посмотрел на меня. И в его глазах было что-то... похожее на восхищение.

— Вы... вы видите то, чего не вижу я, — сказал он тихо.

— Нет, — покачала я головой. — Вы видите. Просто вы привыкли видеть по-другому.

Он молчал. Смотрел на чертежи. На мои наброски. На свои линии.

И в этот момент Наполеон решил, что достаточно.

Кот, который до этого сидел на кресле и делал вид, что его не существует, вдруг встал. Потянулся. И... прыгнул на стол.

— Наполеон, нет, — сказала я. — Нельзя.

Но было поздно.

Наполеон прошелся по столу. По чертежам. Оставив следы своих маленьких, теплых лап. Потом он подошел к банке с водой — той самой, которую я использовала для работы с фарфором, — и... посмотрел на нее.

— Наполеон, — сказала я. — Не надо.

Наполеон посмотрел на меня. Потом на Глеба. Потом на банку.

И опрокинул ее.

Вода растеклась по чертежам. Быстро. Неудержимо. По моим наброскам. По его линиям. По всему, над чем мы только что работали.

— О боже, — выдохнула я.

Глеб смотрел на чертежи. На воду. На Наполеона.

Его лицо... О, его лицо. Это было что-то. Это было выражение человека, который только что увидел, как его мир рушится. Не в смысле апокалипсиса. А в смысле — как если бы кто-то взял его идеальный чертеж и бросил в него ведром воды.

— Это... — начал он.

— Это Наполеон, — сказала я. — И он... он меня ненавидит.

Глеб посмотрел на меня. Потом на кота.

— Ваш кот, — сказал он медленно, — только что уничтожил мои чертежи.

— Я знаю, — вздохнула я. — Простите. Я... я не ожидала.

— Не ожидали? — переспросил он. — Кира, это... это чертежи за три месяца работы. Это... это все.

Наполеон сидел рядом и делал вид, что это не он. Он мыл лапу с таким достоинством, будто только что совершил нечто великое.

— Он... он не специально, — сказала я. — Он просто... он ревнует.

— Ревнует? — Глеб посмотрел на меня так, будто я сказала, что Земля плоская.

— Да, — кивнула я. — Он считает, что это его территория. А вы... вы вторглись.

Глеб посмотрел на Наполеона. Наполеон посмотрел на него.

— Ваш кот, — сказал Глеб медленно, — меня ненавидит.

— Он ненавидит всех, кто нарушает его границы, — сказала я. — Вы нарушили.

Глеб посмотрел на меня. Потом на чертежи. Потом снова на меня.

И вдруг... засмеялся.

Это был не смех. Это был... взрыв. Короткий, неожиданный, искренний. Он закрыл лицо рукой, и его плечи затряслись.

— О боже, — сказал он, наконец отнимая руку. — О боже. Это... это первый раз за три года, когда я сам смеюсь над своей катастрофой.

— Это не катастрофа, — сказала я. — Это... это поправимо.

Он посмотрел на меня.

— Поправимо? Кира, это чертежи. Они... они испорчены.

— Нет, — покачала я головой. — Они не испорчены. Они... изменились.

Он посмотрел на меня с выражением «вы серьезно?».

— Да, — сказала я. — Смотрите.

Я взяла салфетку. Аккуратно промокнула воду. Но не вытерла полностью. Оставила следы. Разводы. Узоры.

— Видите? — сказала я. — Это... это акварельный эффект. Это можно использовать.

— Использовать? — переспросил он.

— Да, — кивнула я. — В дизайне. На стенах. В интерьере. Это... это живые линии. Не ваши прямые. А живые.

Он смотрел на меня. На чертежи. На следы воды.

— Вы... вы серьезно? — спросил он.

— Абсолютно, — сказала я. — Глеб Николаевич, вы архитектор. Вы создаете пространства. Но пространство — это не только линии. Это еще и... настроение. Это еще и... история. И эти следы — они тоже история. История того, как кот Наполеон решил, что вы нарушили его границы.

Он смотрел на меня. Долго. Потом посмотрел на Наполеона.

— Ваш кот, — сказал он, — ненормальный.

— Я знаю, — улыбнулась я. — Но он мой.

Глеб посмотрел на чертежи. На следы воды. На мои наброски, которые проступали сквозь влагу.

— Кира, — сказал он тихо. — Вы... вы удивительная.

Я посмотрела на него. И почувствовала, как у меня начинает колотиться сердце.

— Я просто реставратор, — сказала я.

— Нет, — покачал он головой. — Вы... вы видите то, чего не видят другие. Вы видите красоту там, где другие видят катастрофу.

Я смотрела на него. И не знала, что сказать.

— Я... — начала я.

— Я подумаю, — перебил он. — Над вашим предложением. Серьезно подумаю.

Я посмотрела на него. На его лицо. На его глаза. И поняла: что-то изменилось.

Не сильно. Не сразу. Но изменилось.

Он больше не был врагом. Он был... человеком. Который начал видеть. Который начал понимать. Который, может быть, даже... начал чувствовать.

— Спасибо, — сказала я тихо.

Он кивнул. Посмотрел на Наполеона.

— Ваш кот, — сказал он, — все еще меня ненавидит.

— Да, — улыбнулась я. — Но это пройдет.

— Вы думаете?

— Я уверена, — кивнула я. — Наполеон... он привыкает.

Глеб посмотрел на меня. И в его глазах было что-то... похожее на надежду.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда я... я пойду.

— Да, — кивнула я. — Вам, наверное, нужно... переодеться.

Он посмотрел на свой костюм. На следы воды. На следы лап Наполеона.

— Да, — вздохнул он. — Наверное.

Он начал собирать чертежи. Аккуратно. Педантично. Даже мокрые. Даже испорченные.

— Глеб Николаевич, — сказала я. — Они... они высохнут. И станут еще интереснее.

Он посмотрел на меня. И улыбнулся.

— Я верю вам, — сказал он. — Вы... вы знаете толк в таких вещах.

Он свернул чертежи. Убрал в тубус. Взял портфель.

— Спасибо за чай, — сказал он.

— Пожалуйста, — улыбнулась я. — Приходите еще.

Он посмотрел на меня. Потом на Наполеона.

— Вы думаете, ваш кот... привыкнет?

— Я уверена, — кивнула я. — Наполеон... он умный. Он поймёт, что вы не враг.

Глеб посмотрел на меня. И в его глазах было что-то... теплое. Настоящее.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда... до свидания, Кира.

— До свидания, Глеб Николаевич, — сказала я.

Он вышел. Колокольчик зазвенел. И я осталась стоять посреди мастерской, держа в руках кружку с остывшим чаем.

Наполеон подошел, потерся о ногу и тихо замурлыкал.

— Ты... ты ненормальный, — сказала я ему. — Ты только что уничтожил его чертежи.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «я кот, я не уничтожаю, я корректирую».

— Ладно, — вздохнула я. — Может быть, ты и прав. Может быть, это была... корректировка.

Наполеон замурлыкал громче. И я поняла: он доволен собой.

И знаешь что? Я тоже.

Потому что что-то изменилось.

Что-то началось.

И это было только начало.

Глеб уже был у двери, когда я вдруг сказала:

— Подождите.

Он обернулся. Посмотрел на меня с легкой тревогой — видимо, решил, что Наполеон решил добить его, метнув что-то тяжелое.

— Что случилось? — спросил он.

— Чертежи, — сказала я, указывая на тубус в его руке. — Дайте их мне.

— Зачем? — нахмурился он. — Они уже испорчены.

— Ничего не испорчено, — покачала я головой. — Дайте. Пожалуйста.

Он посмотрел на меня. Потом на тубус. Потом снова на меня. И, вздохнув, протянул.

Я взяла тубус, подошла к верстаку, развернула чертежи. Они были мокрые. Местами — сильно. Бумага покоробилась, линии расплылись, мои наброски превратились в какое-то абстрактное пятно.

Глеб стоял за моей спиной и смотрел с выражением человека, который наблюдает за собственной казнью.

— Кира, — сказал он тихо. — Это... это не спасти.

— Посмотрим, — сказала я, не оборачиваясь.

Я достала из ящика стола специальную бумагу — тонкую, прозрачную, которую используют реставраторы для работы с ветхими документами. Разложила ее на столе. Потом взяла фен — тот самый, старый, советский, который гудел как трактор, — и включила.

— Что вы делаете? — спросил Глеб.

— Сушу, — ответила я. — Медленно. Равномерно. Чтобы бумага не покоробилась еще больше.

Он подошел ближе. Смотрел, как я работаю. Как осторожно, движение за движением, я сушу чертежи. Как потом беру мягкую кисть и аккуратно разглаживаю морщины.

— Вы... вы действительно знаете, как это делать, — сказал он.

— Я реставратор, — улыбнулась я, не поднимая головы. — Я чиню вещи. Даже те, которые кажутся безнадежными.

Он молчал. Смотрел. Потом сказал:

— Можно... можно я помогу?

Я подняла голову. Посмотрела на него. На его лицо, которое было сосредоточенным, внимательным. На его руки, которые слегка дрожали — не от страха, а от... волнения.

— Конечно, — кивнула я. — Вот, возьмите эту кисть. Аккуратно разглаживайте вот здесь. Вот так. Да, именно так.

Он взял кисть. Начал работать. И я увидела, что он делает это... правильно. Аккуратно. Внимательно. Как человек, который понимает, что делает.

— Вы... вы раньше так работали? — спросила я.

— Нет, — покачал он головой. — Но мой дедушка... он был реставратором. Книжки реставрировал. Я смотрел, как он работает, когда был маленьким.

Я посмотрела на него. И вдруг поняла многое.

Поняла, почему он так бережно относится к чертежам. Почему он архитектор. Почему у него на полке стоят фарфоровые лягушки.

— Ваш дедушка, — сказала я тихо. — Он... научил вас видеть вещи?

Глеб посмотрел на меня. И в его глазах было что-то... уязвимое. Настоящее.

— Да, — сказал он. — Он говорил... он говорил, что у каждой вещи есть душа. Что если ты умеешь слушать, ты можешь ее услышать.

Я улыбнулась.

— Ваш дедушка был прав.

— Да, — кивнул он. — Но он умер, когда мне было двенадцать. И я... я забыл. Забыл, как слушать.

— Вы не забыли, — сказала я. — Вы просто перестали пытаться.

Он посмотрел на меня. Долго. Потом сказал тихо:

— Может быть, вы правы.

Мы работали молча. Сушили чертежи. Разглаживали морщины. Спасали то, что казалось потерянным. И в этом молчании было что-то... интимное. Не в смысле романтики. А в смысле — два человека, которые делают что-то важное вместе. Которые понимают друг друга без слов.

Наполеон, который до этого сидел на кресле и дел вид, что его не существует, вдруг встал. Подошел к столу. Прыгнул на стул рядом с Глебом. И... начал мурлыкать.

Глеб посмотрел на кота. Потом на меня.

— Он... он меня простил? — спросил он.

— Не совсем, — улыбнулась я. — Но он понял, что вы не враг. Это уже прогресс.

Глеб улыбнулся в ответ. И протянул руку к Наполеону. Кот понюхал его пальцы. И... позволил себя погладить.

— О боже, — выдохнул Глеб. — Это... это первое чудо за сегодня.

— Не первое, — покачала я головой. — Первое — это то, что вы вообще пришли сюда.

Он посмотрел на меня. И в его глазах было что-то... благодарное.

— Да, — сказал он. — Это тоже чудо.

Мы закончили работу через час. Чертежи были спасены. Не идеально — местами остались следы воды, линии были не такими четкими, как раньше. Но они были целы. И, как ни странно, они стали... интереснее. Живее. Как будто вода добавила им чего-то, чего не было раньше.

— Смотрите, — сказала я, указывая на следы воды. — Вот здесь — это похоже на облако. А вот здесь — на реку. Это... это как карта местности. Только фантастической.

Глеб посмотрел. И вдруг засмеялся.

— Вы правы, — сказал он. — Это красиво. Это... это вдохновляет.

— Вот, — кивнула я. — Видите? Катастрофа может стать источником идей.

Он посмотрел на меня. И сказал тихо:

— Кира, я... я хочу изменить проект.

— Что? — не поняла я.

— Проект коворкинга, — сказал он. — Я хочу изменить его. Сохранить исторические детали. Использовать ваши идеи. Я... я хочу показать инвесторам, что это возможно. Что это может быть лучше.

Я смотрела на него. И не верила своим ушам.

— Вы... вы серьезно?

— Абсолютно, — кивнул он. — Вы... вы открыли мне глаза. Вы показали, что я... я забыл. Забыл, зачем стал архитектором.

— Зачем? — спросила я.

— Чтобы создавать пространства, — сказал он. — Где люди чувствуют себя... живыми. Где есть душа. Где есть... история.

Я улыбнулась.

— Вот видите. Вы не забыли. Вы просто... — я запнулась, пытаясь вспомнить испанское слово. — Ну, вы поняли. Толчок.

— Толчок, — кивнул он. — Да. Вы — мой толчок.

Я посмотрела на него. И почувствовала, как у меня начинает колотиться сердце.

— Глеб Николаевич, — сказала я. — Вы... вы комплиментируете мне?

Он посмотрел на меня. И вдруг... покраснел. Легко, едва заметно. Но покраснел.

— Возможно, — сказал он. — Но это правда.

Мы стояли посреди мастерской. Он — в своем мокром костюме. Я — в блузке с брошкой и брюках. Между нами — спасенные чертежи. И Наполеон, который мурлыкал на стуле.

— Кира, — сказал он. — Я... я пойду. Мне нужно... нужно работать. Нужно подготовить новую концепцию.

— Да, — кивнула я. — Конечно.

Он начал собирать вещи. Портфель. Тубус. Потом остановился. Посмотрел на меня.

— Кира, — сказал он. — Можно... можно я приду завтра?

— Приходите, — улыбнулась я. — Я буду здесь.

— И... — он замялся. — Можно... можно я принесу кофе? Хороший кофе? Не из автомата.

— Можно, — кивнула я. — Я люблю кофе.

— Отлично, — он улыбнулся. — Тогда... до завтра.

— До завтра, Глеб Николаевич.

Он вышел. Колокольчик зазвенел. И я осталась стоять посреди мастерской, чувствуя, как у меня кружится голова.

— Ну что, — сказала я Наполеону. — Кажется, у нас будут перемены.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «надеюсь, хорошие».

— Я тоже, — вздохнула я. — Я тоже надеюсь.

Я подошла к окну. Посмотрела на улицу. Глеб уже уходил. Он шел быстро, но не так, как вчера — не как человек-угольник, а как... человек. Живой. Настоящий.

И вдруг он остановился. Обернулся. Посмотрел на окно — на меня, хотя не мог меня видеть. И... помахал рукой.

Я помахала в ответ. И улыбнулась.

А потом он ушел. И я осталась стоять у окна, чувствуя, что что-то изменилось. Не сильно. Не сразу. Но изменилось.

Мой мир — пыльный, хаотичный, живой — вдруг стал немного больше. В него вошел человек с прямыми линиями. Но эти линии уже не казались такими прямыми. Они стали... мягче. Теплее.

И я... я была рада этому.

— Наполеон, — сказала я, поворачиваясь к коту. — Кажется, у нас будет новый друг.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «посмотрим».

— Да, — улыбнулась я. — Посмотрим.

И в этот момент я поняла: я не боюсь. Я не боюсь перемен. Я не боюсь будущего.

Потому что будущее — оно как старая мебель. Его можно реставрировать. Его можно сделать лучше. Его можно... сохранить.

И, может быть, именно это я и делаю. Не просто чиню вещи. А сохраняю истории. Сохраняю людей. Сохраняю... себя.

— Ну что, — сказала я Наполеону. — Идем спать?

Наполеон мурлыкнул в ответ. И пошел к своему креслу.

А я осталась стоять посреди мастерской. Смотрела на потолок. На ангелочков. И думала о завтрашнем дне.

О кофе. О чертежах. О человеке с фарфоровыми лягушками.

И улыбалась.

Глава 4

Я проснулась в своей квартире. Да-да, вы не ослышались. У меня есть квартира. Настоящая. С кроватью, с ванной, с кухней, на которой можно готовить (хотя я это делаю редко). Однокомнатная, в обычном доме на Патриарших, доставшаяся мне от бабушки — маминой мамы, которая была когда-то известной пианисткой и которая, как говорили в семье, играла Шопена так, что даже соседи плакали.

Квартира была небольшая — сорок два квадратных метра, если быть точной. Но уютная. С высокими потолками, с лепниной (которую я, разумеется, отреставрировала сама), с паркетом, который скрипел так мелодично, что я иногда думала: а не записать ли мне это для какого-нибудь авангардного альбома?

Я проснулась с ощущением, которого не чувствовала давно. Легкости. Как будто кто-то снял с моих плеч невидимый груз. Как будто мир вдруг стал... шире.

Я лежала в кровати — в своей настоящей кровати, с настоящим матрасом, с настоящим одеялом — и смотрела в потолок. На лепнину. На ангелочков, которые были почти такими же, как в мастерской.

И улыбалась.

Потому что вчера произошло что-то странное. Что-то, чего я не ожидала. Я пришла к Глебу Волкову воевать. А ушла... ну, не скажу, что с победой. Но с чем-то большим. С пониманием. С... надеждой?

Я встала, пошла в ванную. Посмотрела в зеркало. Из зеркала на меня смотрела женщина, которая, надо сказать, выглядела неплохо. Не идеально — под глазами все еще были тени (я спала всего часов шесть), волосы топорщились. Но в целом — нормально. Даже, осмелюсь сказать, симпатично.

— Ну что, — сказала я своему отражению. — Сегодня важный день.

Отражение согласно кивнуло.

— Сегодня, — продолжила я, — к нам придет человек. Архитектор. С кофе. И, возможно, с чертежами.

Отражение снова кивнуло. Но в этом кивке было что-то... настороженное. Типа: «Ты уверена, что хочешь, чтобы этот человек приходил? С кофе? И чертежами?»

— Уверена, — сказала я. — Абсолютно.

Я приняла душ — горячий, долгий, с тем самым гелем для душа, который пах лавандой и который мне подарила мама. Оделась. Выбрала джинсы, легкую тонкую кофточку. Волосы собрала в хвост — на этот раз резинка нашлась, и хвост даже держался.

Я посмотрела на себя в зеркало. Нормально. Не «королева пыльного подвала», как вчера. А просто... я. Кира. Реставратор. Женщина, которая знает себе цену.

— Пошли, — сказала я.

Я вышла из квартиры, закрыла дверь, спустилась по лестнице (лестница в моем доме тоже была старая, но скрипела как-то по-другому — мелодичнее, что ли). Вышла на улицу.

Утро было прекрасным. Июльское, теплое, с запахом нагретого асфальта и где-то далекого кофе. Я шла по Патриаршим, смотрела на пруд, на людей, которые гуляли с собаками, на детей, которые бегали за голубями. И чувствовала себя... счастливой.

Нет, не счастливой. Это было слишком сильное слово. Но... довольной. Умиротворенной. Как будто все в моей жизни встало на свои места. Хотя, конечно, это было иллюзией. Потому что через месяц меня все равно могли выселить. Но сегодня — сегодня я не хотела об этом думать.

Я дошла до мастерской, поднялась по лестнице (первая ступенька — бас, вторая — тенор, третью обошла), открыла дверь. Колокольчик зазвенел.

— Наполеон, — позвала я. — Я дома.

Наполеон сидел на своем кресле. Посмотрел на меня. И... медленно моргнул. Этот жест означал: «Ну наконец-то. Я уж думал, ты решила переехать в свою квартиру окончательно. Что ж, это было бы... логично».

— Не дожدهшься, — сказала я, подходя к нему. — Ты мой. Навсегда.

Наполеон фыркнул, что означало: «Посмотрим».

Я поставила сумку, и огляделась. Мастерская выглядела... нормально. Не идеально, конечно. Но нормально. Комод стоял в углу. Чашка из севрского фарфора — на верстаке. Инструменты — на своих местах. Банки с морилкой — в шкафу.

Но что-то было не так.

Я почувствовала это сразу. Как будто воздух стал... другим. Не хуже. Не лучше. Просто другим.

— Странно, — сказала я вслух.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «ты всегда говоришь странные вещи, женщина».

— Нет, ты не понимаешь, — сказала я. — Воздух. Он... он другой. Как будто что-то изменилось.

Наполеон не ответил. Он просто закрыл глаза и начал делать вид, что спит.

— Ладно, — вздохнула я. — Может быть, мне просто кажется.

Я решила навести порядок. Не потому что нужно было. А потому что... ну, потому что придет Глеб. С кофе. И, возможно, с чертежами. И я хотела, чтобы... ну, чтобы все было нормально. Чтобы он не подумал, что я живу в свинарнике.

Я начала с верстака. Сдвинула инструменты влево. Потом вправо. Потом снова влево. Получилось... так же, как было. Но я почувствовала, что это не то. Я перешла к банкам с морилкой. Вытащила их из шкафа. Посмотрела. Поставила обратно. Потом снова вытащила. Переставила. Посмотрела. Снова переставила.

Наполеон открыл один глаз. Посмотрел на меня. Закрыл глаз.

— Я знаю, — сказала я. — Я нервничаю.

Я перешла к комоду. Протерла пыль. Хотя пыли на нем не было — я протирала его вчера. Но я все равно протерла. Потом протерла еще раз.

Наполеон открыл оба глаза. Посмотрел на меня с выражением «женщина, ты серьезно?».

— Да, — сказала я. — Я серьезно. Я нервничаю. И это нормально. Потому что... ну, потому что придет Глеб.

Наполеон фыркнул.

— Не фыркай, — сказала я. — Ты не понимаешь. Он... он интересный.

Наполеон посмотрел на меня с выражением «все они интересные, пока не начнут требовать, чтобы я не царапал мебель».

— Ладно, — вздохнула я. — Ты прав. Может быть, я снова попадаюсь на удочку. Может быть, он просто... архитектор. Который хочет снести мой дом. Я села на оттоманку — ту самую, на которой спала. Посмотрела на потолок. На ангелочков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.